

**ЖИЗНЬ
ЛЕНИНА
1870—1924**

**Сборник воспоминаний
его современников**



Издание
„РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ“
МОСКВА—1925

Типография „Рабочей Газеты“
Камер-Коллежский вал, д. № 63.

Главлит № 34040.

Тираж 60.000.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Интерес к книге, газете наблюдается исключительный. Революция подняла такие слои читательских масс, которые до этого совсем не имели никогда общения с книгой или газетой.

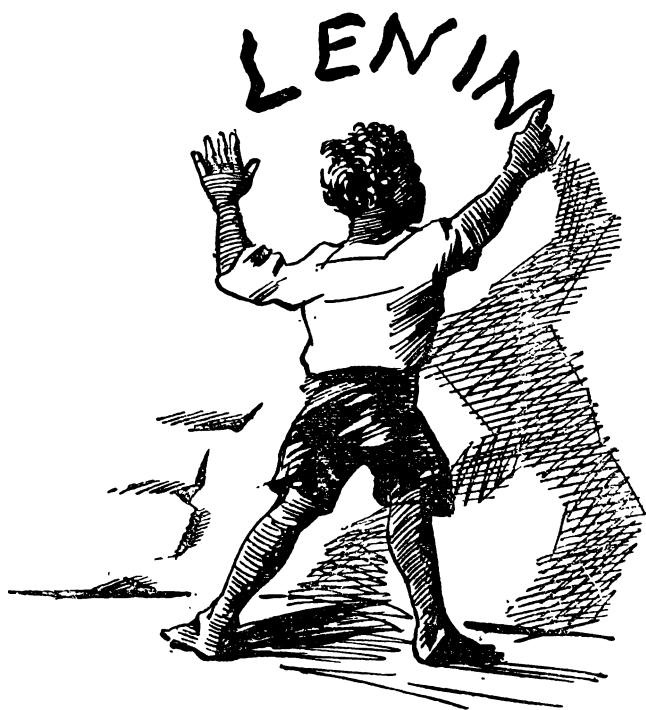
Наши издательства и библиотеки свидетельствуют о необычном в нашей стране тираже газет, журналов и большом спросе на книгу.

Больше всего читается газета, журнал и беллетристика. Понятно, почему новый читатель, зачастую только что ликвидировавший свою неграмотность, тянется прежде всего к более легкому, более доступному и живому чтению. Жадно набрасывается на беллетристику и наша молодежь, по своему возрасту и настроениям склонная к книге, которая будила бы в ней не только мысли, но волновала и чувства.

Огромная потребность замечается также в книжках, близких к беллетристике. Речь идет о воспоминаниях, мемуарах. Особенно широко проник в массы интерес к Ленину. Об умершем вожде хотят знать как можно больше и полнее.

Учитывая эту потребность, «Рабочая Газета» решила дать биографию Ленина так, чтобы она была вся соткана из живых красочных воспоминаний. Предлагаемый сборник составлен из ряда воспоминаний, вошедших в различные сборники, таким образом, что перед читателем встает страница за страницей из жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина. Составляя сборник для широких трудящихся масс, именно так, как указано выше, мы надеемся, что на нас не посетуют те издательства и те авторы, книгами и статьями которых мы воспользовались, как материалом, и поймут наше желание дать рабочему читателю книгу, живую, красочную и вполне ему доступную.

I
ДЕТСТВО и ЮНОСТЬ





П. Лепешинский

Детство



Владимир Ильич Ульянов родился в Симбирске 10/23 апреля 1870 года. Отец его, Илья Николаевич Ульянов, происходил из бедной мещанской семьи. Благодаря своей упорной энергии, он добился высшего образования—сначала в качестве инспектора, а потом и директора народных училищ Симбирской губернии. Исполнительный, честный, суровый к самому себе, Илья Николаевич и детей своих не приучал к праздности, а старался привить им трудовые навыки. В этом деле ему помогала и жена его, мать Владимира Ильича, Мария Александровна, вечно деятельная, не покладаящая рук и прежде всего отдающая свои силы воспитанию детей.

В доме Ульяновых царил дух взаимного доверия, любви и уважения к свободе друг друга. Не было ни споров из-за будничных интересов текущего дня, ни дразг, столь обычных в обывательской среде, ни конкуренции из-за личных благ жизни. В этом смысле семья Ульяновых представляла из себя положительно аристократию духа, и Владимир Ильич в сугубой степени усвоил в своей дальнейшей жизни эту черту шепетливости по отношению к окружающим его людям, боязни скандалов на почве столкновения каких-нибудь обывательских претензий и огромного благородства в элементарно-житейском смысле этого слова.

«Разговоры на политические злобы дня,—говорится в одной из статей с матерьялами для биографии Ленина,—резко выделили дом Ульяновых среди других дворянско-мещанских домов Симбирска того времени. Илья Николаевич очень сочувственно относился к революционному движению и часто можно было слышать его дебаты на ту или иную тему. Тон залавал Александр (старший брат Владимира Ильича, П. Л.). Владимир часто принимал участие в спорах и очень удачно».

Вся атмосфера хорошей, пропитанной традициями общности, разлочинной смести не могла не наложить своей печати на личность юного Ильича, которому не пришлось слишком рано отдавать свои силы на борьбу за свободу своего умственного и нравственного самоспределения. Свойственная ему живость, подвижность, находчивость, остроумие и жизнерадостность не были угадываемы с детства самодурством каких-нибудь семейных Кит Китычей, которых в семье Владимира Ильича, к счастью, совершенно не волилось.

Особенно сильное влияние на всех детей, и, в частности, на Владимира, оказывала Мария Александровна. В высшей степени деликатная,

с нежной, любящей душой, спокойная, сдержанная, мужественно встречающая удары судьбы, беззаветно любившая своих славных детишек, она была кумиром этих последних и, в частности, маленького (да и взрослого впоследствии) нашего Ильича. Тов. Зиновьев в своем очерке о Владимире Ильиче приводит, в качестве примера нежной привязанности Ильича к своей матери, случай поездок Ильича в Швецию в ущерб партийной работе (высшая жертва для Ильича!), чтобы повидать там свою мать и скрасить ей последние дни.

Из детских лет жизни Ильича следовало бы особо отметить те летние месяцы, которые ему удавалось проводить в деревне. Родственники семьи Ульяновых жили в дер. Кокушкино, Казанской губ. Туда частенько Ульяновы наведывались погостить, пользуясь летним отдыхом. Добрая и деловитая Марья Александровна сейчас же завязывала сношения с местными крестьянами,— главным образом, на почве оказания им помощи врачебными советами (в меру своего практического опыта, так как профессиональной лекаршей она никогда не была), или снабжения общеупотребительными лекарствами, которые она забирала с собой на лето в большом количестве. И отец Ильича не чууждался крестьян, запросто заходил к ним и при всех встречах—и в поле, и на дороге—завязывал с ними дружеские беседы. Что же касается маленького Володи, то его тянуло на улицу. Вот что мы читаем об этом в заметке тов. Табейко о детских годах Ильича («Пути Революции», № 3 Истор. журн. Татбюро Истпарта, 1923), составленной на основании воспоминаний старожилов дер. Кокушкино:

«Володя привозил частенько из города множество разноцветных бабок и устраивал игры. При этом он пользовался чугунной бабкой и, к огорчению других малышей, редко оставался побитым.

Все игры и занятия кокушкинской детворы присущи были и малолетнему В. Ульянову. Кроме игры в бабки, основной любовью его пользовался самострел (лук), сделанный из обруча. С этим самострелом он уходил далеко в поле или к ключу (у «Повирни»), и подстреливал там куликов, как это делали все крестьянские дети.

Шел в ночное. Раскошный уголок в лесу, на поляне, для пастбища лошадей, в 3—4 верстах от деревни. Ночное—прекрасная частичка в деревенском быту. Уходя в ночное, дети становились взрослыми в собственных глазах. Там они были на свободе. И жутко, и весело. Сказки, смех, шалости и шутки ночью, при мерцающих над лесом звездах, тени и лесные призраки от «страшных» рассказов и снов, ржанье лошадей при полной ночной тишине делали невинную почовку в лесу необыкновенно привлекательной. И Володя, любивший природу, как свою книгу, так увлекался прогулками «по дебрям лесным», что шел на отчаянные споры со старшими, пускал в ход все свое красноречие и искренность, лишь бы убедить их взять его в ночное.

— «Возьмите меня в ночное. Я приготовил на всех чай, сахар. Костер разведу, дров наломаю».

Но старшие ему говорили:

— Нет, нет, Володя. Ты мал. В лесу волки и медведи живут. Колдунья маленьких там ворует,—как мы тебя возьмем...

Володя набирался храбрости и шел по их следам в ночное».



Владимир Ильич в 1874 году.

М. Фармаковский

Из детских лет Владимира Ильича Ульянова

Я лично помню Владимира Ильича крепким, коренастым мальчиком лет 10—11-ти, необыкновенно живого темперамента; Владимир Ильич был всегда вдохновителем и руководителем всех наших детских игр. Игры эти происходили обыкновенно в нашем доме или, вернее, в саду и на дворе. Наше жилище—это был маленький провинциальный домик на окраине Симбирска, по Казанской улице.

Здесь, в саду, мы играли в разбойники, в чернокожих, и вообще у нас были такие игры, которым способствовали запущенный сад и сравнительно просторный двор.

Конец 70-х годов было время очень тревожное, и я помню, как-то раз, в нашем детском кружке, я, увлекшись рисованием и рассказывая вслух, что изображаю, воскликнул: «А вот убивают царя, вот летит прага, рука!». Старуха-нянька остановила меня словами: «Что ты, что ты, батюшка! Теперь и стены слышат...»

Вот среди таких впечатлений и детских шалостей, доходивших иногда до дерзостей, протекало наше общее с Владимиром Ильичем детство, на фоне которого очень выделялась фигура матери Владимира Ильича — Марии Александровны — необычайно сердечной женщины, всецело преданной интересам детей.

Из других детей Ульяновых ближе к нашему детскому кружку были Митя и Оля. Но оба они были очень смиренные и застенчивые дети.

Вас. Друри

Воспоминания о товарище Ленине

Пишущий эти строки—бывший сотоварищ В. И. Ленина-Ульянова по Симбирской классической гимназии.

Знал его, как ребенка и как юношу, вплоть до поступления его в Казанский университет, после чего наши жизненные пути разошлись. И то не совсем, так как я, состоя студентом Казанского ветеринарного института, часто и много слышал доброго и хорошего о студенте Казанского университета Владимире Ильиче Ульянове.

Отец В. И. Ульянова, как уже теперь известно, был директором народных училищ в том же Симбирске. Вспоминаю, как мы, все ученики Симбирской классической гимназии, с большим уважением упоминали при разговорах имя отца Ульянова, которого очень любили и ученики его школ. Вспоминаю, как в период нашего совместного учения с 1882 по 1887 год в гимназии, Владимир Ильич был как лично моим, так и всего класса наилучшим товарищем. Он был всегда добрым ко всем, как к мальчикам в младших классах; так и юношам в старших. Я жил в пансионе при гимназии, где, конечно, и кормили нас крайне слабо. Владимир же Ильич жил у своих родителей, и, приходя в класс, приносил с собой что-либо на завтрак. Вот этот-то самый завтрак он сам почти не ел, а отдавал нам, полуголодным пансионерам. Вообще он

не только делился куском хлеба и завтраками с другими учениками, но даже часто отлавал и свои ученические принадлежности, как-то: тетради, карандаши и перья, оставаясь сам без них, за что даже частенько подвергался строгим замечаниям со стороны гимназического инспектора Ивана Яковлевича Христофорова.

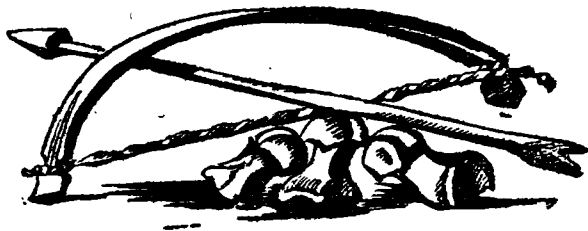
Играя с Владимиром Ильичем в летские игры, — в лапту или рюхи, я всегда испытывал большое удовольствие, замечая его стремление, в случае его выигрыша, своим превосходством не обидеть обыгранного. Вообще везде и всегда у него проглядывало желание не только, чтобы не обидеть кого-либо, но, наоборот, помочь всем, чем он мог.

Учился он во всех классах не только что хорошо, но прямо-таки отлично. В чем он был слабее и то немного, то лишь в произношении французского языка, да и то только потому, что сам преподаватель, Алольф Иванович Пор, был не столько учителем, сколько балаганным фигляром, разыгрывавшим из себя великосветского аристократа.

И вот, будучи отличным учеником, Владимир Ильич не забывал в классе и своих товарищей, более слабых. Решив задачи или написав письменные работы в классе, он тут же спешил помочь и другим, кто не смог решить задачу или написать заданное, даже подвергая себя опасности получить большую неприятность со стороны директора гимназии, Федора Михайловича Керенского (отец Александра Керенского, главы Временного Правительства в 1917 г. Сам Александр Керенский учился в младших классах этой гимназии, когда Владимир Ильич был уже в старших), который в особенности стал обращать внимание на Владимира Ильича в последнем классе, когда разнесся слух в гимназии, что старший брат его, Александр Ильич Ульянов, замешан в государственном преступлении.

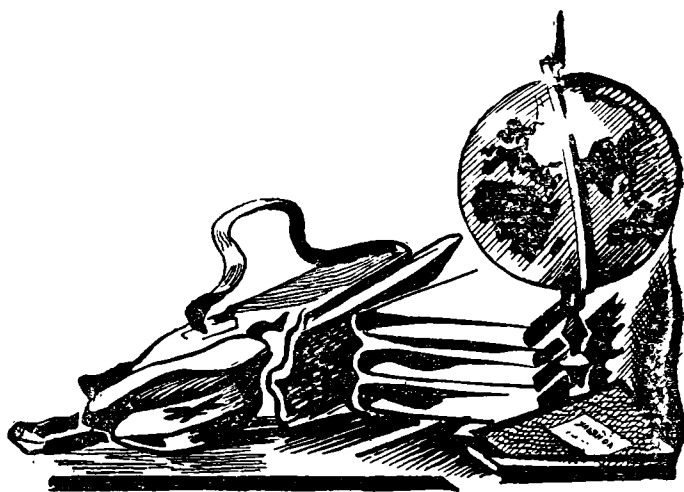
Владимир Ильич окончил гимназию наилучшим учеником. И фамилия его, как наилучшего ученика, не была записана на мраморной доске лишь только потому, что люди, власть имущие, видели в нем брата Александра Ульянова.

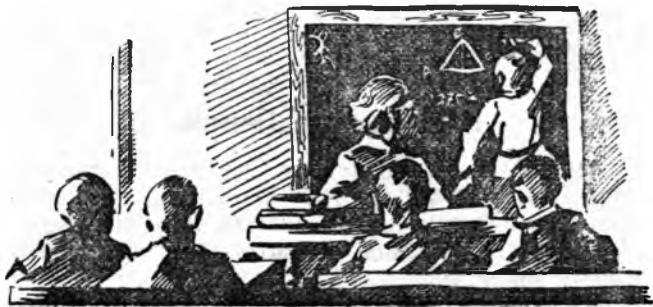
Окончив курс гимназии, Владимир Ильич поступил в Казанский университет на юридический факультет, а я в той же Казани в ветеринарный институт. И вот, будучи студентом, мне частенько приходилось слышать среди студентов имя Владимира Ильича, как рьяного работника в студенческих революционных кружках. Приехав в Симбирск в 1889 году, я посетил самую полную гимназию, где нашел много перемен. Между прочим, я узнал, что директор Керенский получил из Петербурга нахлобучку за то, что допустил, что гимназия его сделалась красной, что из его гимназии повышло много студентов с крайне революционным направлением, за что он и был деликатным образом переведен, если я не ошибаюсь, в Саратов с повышением в должности.



II

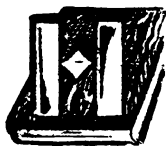
ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ





А. Бушует

Володя ульянов—руководитель ученических кружков



а мою долю, как друга и спутника его детства, выпало счастье провести с Владимиром Ильичем его юношеские годы. Я хочу рассказать о том периоде его жизни, когда он был еще гимназистом Симбирской гимназии.

В этот период народовольческого движения товарищ Ленин проявлял живейший интерес к вопросам крестьянского и рабочего движения. Черпая много от революционной деятельности своего брата Александра, как известно, казненного Александром III, Владимир Ильич переносил сейчас же все волнующие его вопросы в среду сверстников, своих близких, друзей. Повсюду, где только являлась возможность собраться:—на гуляньях, прогулках, в садах, а в зимнее время на катках,—мы собирались своим тесным кружком, где Володя Ульянов ставил вопросы о демократии, о крепостном праве, о тяжелом состоянии рабочего класса. Все эти вопросы нами обсуждались и подвергались оживленным дискуссиям.

Уже и тогда Владимир Ильич имел всегда за собою большинство умев доказать остальным правоту своего взгляда.

Несмотря на то, что эти собрания носили случайный характер, они оставляли в умах и сердцах их участников неизгладимый след.

Следует указать, что когда на наших собраниях по каким-либо причинам отсутствовал Володя Ульянов, то его отсутствие сейчас же чувствовалось и отражалось на настроении и деятельности всего собрания. Оно проходило вяло, безрезультатно, и мы, обыкновенно, немножко потоптавшись, расходились, ни с чем.

Исключительное влияние Володи, полное организующей энергии, было тем стержнем, вокруг которого объединялась вся молодежь как в играх, так и при обсуждении серьезных вопросов.

В этих кружках принимала участие молодежь—ученики всех классов, все, кто попадал в поле зрения Володи Ульянова.

Так протекала наша жизнь до 1887 года, когда Володя уехал в Казанский университет и поступил на юридический факультет.

В. Бонч-Бруевич

Как учился Ленин

Будучи учеником восьмого класса Симбирской классической гимназии, Владимир Ильич 18 апреля 1887 года подал прошение директору этой же гимназии, в котором писал: «желая подвергнуться испытанию зрелости, имею честь покорнейше просить ваше превосходительство о допущении меня к оному».

Ему разрешено было сдать экзамены на аттестат зрелости, в виду полной подготовленности к этому делу. Он, обучавшийся в гимназии общим новым языкам (французскому и немецкому), из 350 уроков, имевшихся в течение полугодия 1886—87 учебного года, пропустил по болезни 34 урока и 10 по другим уважительным причинам. По «неуважительным причинам» он за все полугодие, как это видно из цитируемой ведомости, не пропустил ни одного урока. Значась за № 26 (по алфавиту) в общем списке лиц, имеющих подвергнуться испытанию зрелости в Симбирской гимназии в 1887 году, как из документов видно, в Симбирской гимназии В. И. «обучался восемь лет, при чем имел поведение отличное, исправность в посещениях—весьма исправную, приготовление к урокам — весьма аккуратное, исполнение письменных работ—отменно усердное, внимание в классе—очень внимателен, интерес к учению—с любовью занимается всеми предметами и особенно древними языками». Успехи в предметах гимназического курса—по предметам закона божия, греческого языка, физики и математической географии, французского языка, русского языка и словесности, латинского языка, математики, истории и немецкого языка—были отмечены высшим баллом; по всем предметам, кроме логики, он имел круглые 5, а по логике—четыре, так что в среднем выводе он имел годичную отметку 4¹⁰/₁₁.

Получить столь высокую отметку в восьмом классе в те времена, какую имел Владимир Ильич, было крайне трудно, и только исключительно одаренные ученики добивались ее.

Рассмотрев все эти сведения об успехах и поведении В. И., педагогический совет определил: «допустить к испытанию зрелости».

При сдаче экзамена при испытании зрелости Ильич получил по всем предметам по устному и письменному круглое пять, и педагогический совет определил по отношению к нему: «удостоен аттестата зрелости и награды золотой медалью».

Блестяще окончив курс наук классической гимназии, Ильич стремился в университет, о чем он и заявлял своему гимназическому начальству. В «особых замечаниях о тех, кто на основании успехов, способностей, прилежания и твердости характера подает надежды относительно дальнейших успехов в науках, с указанием, в какой университет поступил», мы находим сообщение:

Ульянов и Наумов подают наибольшие надежды относительно дальнейших успехов в науках. Оба заявили желание поступить на юридический факультет: «Ульянов—в Казанский университет, Наумов в Московский». Таким образом из всего класса, в котором в общем было 29 человек, только двое удостоились быть отмеченными в качестве «достойнейших» строгим гимназическим начальством, и из этих двух В. И. Ульянов был первым.

*Ив. Чеботарев***Встречи с Владимиром Ильичем**

В первый раз я увидел Владимира Ильича в 1882 году, как ученика 3-го класса Симбирской гимназии, будучи сам в 8-ом классе ее. Раз мне было поручено заменить отсутствовавшего преподавателя латинского языка в 3-м классе и позаниматься с учениками. Зная Александра Ульянова, лучшего ученика 7-го класса этой же гимназии, брата Владимира Ильича, я, при своих занятиях в 3-м классе, обратил внимание на маленького Володю. Как сейчас, я вижу его—чистенький, хорошо упитанный, с высоким лбом, с гладко причесанными волосами, с внимательными глазами и вместе с тем необыкновенно скромный.

Несмотря на свои 11—12 лет, он держал себя солидно, не суетился и не лез со своим ответом, если вопрос обращали не непосредственно к нему. Когда же спрашивали лично его, он давал вполне обстоятельные ответы. По точности и сознательности ответов, Володя Ульянов выделялся своим развитием и знанием среди учеников своего класса.

С Александром Ульяновым я не вел еще тогда знакомства вне степ гимназии и потому нигде не сталкивался ближе с Володией Ульяновым.

Прошло пять лет. Я окончил уже Петербургский университет, в стенах которого близко познакомился с Александром Ульяновым. Последнюю зиму его жизни—1886—87 гг.—мы жили с ним вместе на Александровском проспекте Петербургской стороны. Месяца за полтора до покушения, я по предложению Александра Ульянова переехал на Пески. Арестованный 1-го марта, я вскоре был освобожден с обязательством не выезжать из Петербурга впредь до распоряжения властей. В это время в Петербург приехала мать Ульяновых—Мария Александровна, хлопотать о своих арестованных детях Александре и Анне. Мне пришлось помогать ей в эти хлопотах и я, до сих пор не знавший их мать, теперь близко познакомился с ней. От нее я узнал, что ее дети Владимир и Ольга отлично кончают гимназии и стремятся попасть учиться в Петербург. А до этого я слышал от Александра, что еще с лета 1886 года Владимир интересовался политическими и экономическими вопросами. Но Александр ни разу не упоминал при этом, что он или Владимир близко интересуются подпольной революционной литературой.

В начале июня 1887 г. я приехал в Симбирск, куда уже вернулась и Мария Александровна с освобожденной из дома предварительного заключения дочерью Анной, ссылавшейся под надзор полиции в Казанскую губернию. Я встретил в полном сборе осиротевшую семью Ульяновых. Наравне с другими членами семьи, а может быть, и больше других, Владимир Ильич расспрашивал меня о последних днях моей совместной жизни с Александром, о допросах меня на предварительном следствии и на самом верховном суде, в особенности, о впечатлении, какое произвел на меня Александр на скамье подсудимых. Обо всем этом он расспрашивал меня спокойно, даже слишком методично, но, видимо, не из простого любопытства. Его особенно интересовало революционное настроение брата.

В. И. в гимназии

Девяти лет маленький Ильич поступил в первый класс Симбирской классической гимназии; учился легко и охотно. Директор гимназии Керенский (отец пресловутого А. Ф. Керенского—социал-предателя) благоволил к талантливому ученику и по-своему покровительствовал ему. Он не поспешил на высокую оценку (с своей, конечно, чиновничьей, точки зрения) лучшего ученика гимназии. «Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный, Ульянов во всех классах был первым учеником и при окончании курса награжден золотой медалью, как самый достойнейший по успехам, развитию и поведению». Не забывает гимназическое начальство отметить и примерное благонравие юноши. «В основе воспитания (детей в семье Ульяновых) лежала религия и разумная дисциплина. Добрые плоды домашнего воспитания были очевидны в отличном поведении Ульянова».

Это правда, что Владимир Ильич в гимназические годы своей жизни не обнаруживал склонности к озорничеству, к бессмысленной шумливости, к дебоширству. Отвращение к атмосфере дебоша и скандала было всегда ему присуще. Но когда автор аттестации говорит,—«я не мог не заметить в нем излишней замкнутости и чуждаемости от общения даже с знакомыми людьми, а вне гимназии и с товарищами, которые были красой школы, и вообще нелюдимости», то это наблюдение не очень согласуется с той характеристикой, которую дают Ильичу сверстники его, вспоминаящие его школьную жизнь. По их словам, Владимир Ильич в старших классах гимназии был душой небольшой группочки одноклассников, среди которых он выделялся своим умом и своим пылким, потенциально-революционным темпераментом. Гимназисты, как водится, конспиривали от начальства и вели свои интимные беседы на политические и общественные темы подальше от ушей своих казенных «душехранителей». Поэтому юноша Ульянов мог представляться директору Керенскому в несколько ином свете: в высшей степени общительный среди своих (без него гимназический кружок его казался обездушенным, мертвым, скучным), Ильич, по всей вероятности, производил впечатление «буки» в кругу «приличной» компании обывателей (обнаруживал «излишнюю замкнутость и чуждаемость»).

Точно также и относительно религиозности «благонравного» гимназиста. Действительно, в семье Ульяновых не культивировался атеизм, и маленький Володя сначала рос под знаком тех религиозных внушений, которые не могла не оказывать на него окружающая среда. Но гимназическое начальство, охотно выставляя оканчивающему гимназисту жирную пятерку по закону божью, и не подозревало, что в голове юноши давно уже совершился процесс эмансипации его мысли от религиозных предрассудков. Владимир Ильич в одной из заполненных им партийных анкет на вопрос: «когда перестали быть религиозным» — отвечает: «в 16 лет». А по рассказу одного из приятелей Ильича (его товарища по революционной работе в 1895 г. *), сам Владимир Ильич так характеризовал момент этой эмансипации. Однажды, когда в его сознании ясно отобразилась мысль, что никакого бога нет, он порывисто снял со своей

*) Г. М. Кржижановского



Александр Ильич Ульянов,
брат В. И. Ленина, казненный в 1887 году
за покушение на жизнь Александра III.

шей крест, с презрением плюнул «на священную реликвию» и бросил на землю. Словом, освободился от религиозных предрассудков по-своему,— чисто «по-ильичевски», революционно, без длительных колебаний и робких примериваний к своему уму «духа отрицанья и сомненья».

Окончил гимназию юноша Ильич с круглой пятеркой в аттестате зрелости по всем предметам, кроме одного: по логике ему поставили четверку.

Следует отметить еще один момент из жизни Ильича гимназиста, имевший место за несколько месяцев перед выходом юноши из стен гимназии. 8 марта (по старому стилю) 1887 года был казнен брат Ильича А. И. Ульянов после неудавшегося покушения на Александра III. За год перед этим умер отец Владимира Ильича (12 января 1886 года). Но вряд ли даже смерть отца была для него таким страшным ударом, как эта казнь любимого брата—такого умного, талантливого, вдумчивого, нравственно чистого и фантастически преданного охватившей его душу идее революционной борьбы с проклятием самодержавной России.



III

В КАЗАНИ. ПЕРВАЯ ВЫСЫЛКА





А. Елизарова

О жизни Владимира Ильича Ульянова-Ленина в Казани (1887—89 г.г.)



рат мой, Владимир Ильич Ульянов, поступил осенью 1887 года в Казанский университет на юридический факультет, по окончании в том же году с золотой медалью Симбирской классической гимназии.

Это произошло в год суда в Петербурге над старшим братом, Александром Ильичем, и казни его. Дело это произвело тогда огромное впечатление, и тучи от пронесшейся над семьей грозы спустились и над головами остальных ее членов. Естественно, что на следующего брата власти склонны были смотреть очень подозрительно и можно было опасаться, что его ни в какой университет не пустят. Головами остальных ее членов. Естественно, что на следующего брата власти склонны были смотреть очень подозрительно и можно было опасаться, что его ни в какой университет не пустят.

Ф. Керенский, отец известного впоследствии А. Ф. Керенского, бывший в то время директором Симбирской гимназии, ценивший Владимира Ильича и в то же время относившийся очень хорошо к умершему за год перед тем отцу его, Илье Николаевичу, желал помочь талантливому ученику обойти эти препятствия. Этим объясняется та в высшей степени «добронравная» характеристика его, которая была переправлена Керенским в Казанский университет и подписана и другими членами педагогического совета. Вот она:

«Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный, Ульянов во всех классах был первым учеником и при окончании курса награжден золотой медалью, как самый достойный по успехам, развитию и поведению. Ни в гимназии, ни вне ее не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях гимназии непохвальное о себе мнение. За обучением и нравственным развитием Ульянова всегда тщательно наблюдали родители, а с 1886 года, после смерти отца, одна мать, сосредоточившая все заботы свои на воспитании детей. В основе воспитания лежала религия и разумная дисциплина. Добрые плоды домашнего воспитания были очевидны в отличном поведении Ульянова. Присматриваясь ближе к образу домашней жизни и характеру Ульянова, я не мог не заметить в нем излишней замкнутости, чуждаемости от общения даже со знакомыми людьми, а вне гимназии и с товарищами и вообще—нелюдимости».

Покойный Ильея Николаевич был очень популярной, любимой и уважаемой личностью в Симбирске, и семья его пользовалась вследствие этого большой симпатией. Владимир Ильич был красой гимназии. В этом характеристика Керенского совершенно верна. Правильно также указывает он, что это происходило не только вследствие талантливости, но и

вследствие усердия и аккуратности В. И. в исполнении требуемого, качества, воспитанных той разумной дисциплиной, которая лежала в основе домашнего воспитания. Отец, сам честный и неутомимый труженик, исполнительный до педантизма, требовал того же и от детей. Илья Николаевич был также искренне и глубоко верующим человеком и воспитывал в этом духе детей. Но его религиозное чувство было, так сказать, вполне «чистым»; чуждым всякой партийности и какой-либо приспособляемости к тому, что «принято». Это было религиозным чувством Жуковского, поэта, любимого отцом, религиозным чувством гораздо более любимого Некрасова, выразившимся, например, в поэме «Тихина», отрывки из которой отец любил цитировать, именно то место, где говорится о «храме божием», пахнувшем на поэта «детски чистым чувством веры».

В гимназии, правда, требовали посещения церкви, говения. Но дома дети видели искренне убежденного человека, за которым шли, пока были малы. Когда же у них складывались свои убеждения, они просто и спокойно заявляли, что не пойдут в церковь (помню такой случай с братом Александром), и никакому давлению не подвергались.

Керенский, конечно, с целью подчеркивает, что в основе воспитания лежала религия, так же, как старается подчеркнуть «излишнюю замкнутость», «нелюдимость» Владимира Ильича *). Говоря, что «не было ни одного случая, когда Ульянов словом или делом вызвал бы непохвальное о себе мнение», Керенский даже грешит против истины. Всегда смелый и шаловливый, брат часто подсмеивался и над товарищами, и над некоторыми преподавателями. Одно время В. И. взял мигренью для насмешек француза, по фамилии Пор. Этот Пор был очень ограниченный фат, говорят, повар по профессии, пролаза, женившийся на дочке симбирского помещика и пролезший через это в общество. Он терся постоянно около директора или инспектора; порядочные педагоги относились к нему с пренебрежением. Разобиженный в конце, он настоял на четверке из поведения дерзкому ученику в четверть.

В виду того, что брат был уж в седьмом классе, это происшествие пахло серьезным. Отец рассказал мне о нем зимой 1885 года, когда я приехала на каникулы, добавив, что Володя дал ему слово, что этого больше не повторится.

Но разве не в таких же пустяках коренилось часто исключение и порча всего жизненного пути непокорному юноше? Отношение к отцу и ко всей семье, а также исключительная талантливость Владимира Ильича избавили его от этого.

На тех же соображениях, что и характеристика Керенского, основывалось решение моей матери не отпускать В. И. в университет одного, а переехать в Казань с своей семьей. Там он поселился с конца августа 1887 года в доме б. Ростово́й на Первой горе, откуда через месяц переехал со всей семьей на Ново-Комиссариатскую, в дом Соловьевой.

В те годы затишья и безвременья, когда «народная воля» была уже разбита, а соц.-дем. партия еще не зародилась в России и массы не выступали еще на арену борьбы, единственным слоем, в котором недовольство не спало, как в других слоях общества, а проявлялось отдельными вспышками, было студенчество. В нем всегда находились честные, горячие люди, открыто возмущавшиеся, пытавшиеся бороться. И его поэтому давила всего сильнее лапа правительства. Обыски, аресты, высылки — все это обрушивалось всего сильнее на студентов. В 1887 году гнет еще

*) Больших приятелей у него в гимназические годы не было, но, конечно, нелюдым его никак нельзя назвать.

усилился, вследствие попытки покушения на жизнь царя, произведенной весной этого года в Петербурге, участниками которой были почти одни студенты.

Мундиры, педеля, самый тщательный надзор и шпионство в университете, удаление более либеральных профессоров, запрещение всяких организаций, даже таких невинных, как землячества, исключение и высылка многих студентов, бывших хоть сколько-нибудь на примете,—все это подняло настроение студентов с первых же месяцев академического года.

Волна так называемых «беспорядков» прошла с ноября по всем университетам. Докапталась она и до Казани.

Студенты Казанского университета собрались 4-го декабря, шумно требовали к себе инспектора, отказывались разойтись; при появлении последнего, предъявили ряд требований, не только чисто студенческих, но и политических. Подробности этого столкновения, переданные мне в свое время братом, не сохранились в моей памяти. Помню только рассказ матери, ходившей хлопотать о нем, потому что инспектор отметил Володю, как одного из активных участников сходки, которого он видел в первых рядах, очень возбужденного, чуть не со сжатыми кулаками. Владимир Ильич был арестован на квартире с 4 на 5 декабря и просидел несколько дней с другими арестованными (всего 40 человек). Все они были высланы из Казани. В. В. Адоратский рассказывает о переданном ему позднее В. И. следующем разговоре с приставом, отвозившим его после ареста.

— Что вы бунтуете, молодой человек, ведь перед вами стена?

— Стена, да гнилая, тгни и развалится,—ответил, не задумываясь, Владимир Ильич.

Владимир Ильич, по просьбе матери, был выслан в деревню Кокушкино, в 40 верстах от Казани, в благоприобретенное имение деда его матери, Александра Дмитриевича Бланк, где в то время проживала под гласным надзором сестра его Анна (пишущая эти строки), которой пятилетний гласный надзор в Сибири был заменен, по ходатайству матери, высылкой в эту деревню. Там остались доли двух теток, и во флигеле одной из них—очень холодном и неблагоустроенном—провела наша семья (некоторое время спустя мать с меньшими переселилась тоже в Кокушкино) зиму 1887—88 года.

Никаких соседей у нас не было. Провели мы зиму в полном одиночестве. Редкие приезды двоюродного брата да посещения исправника, обязанного проверять, на месте ли я и не пропагандирую ли крестьян,—вот и все, кого мы видели. Владимир Ильич много читал; во флигеле был шкаф с книгами покойного дяди, очень начитанного человека, были старые журналы с ценными статьями; кроме того, мы подписывались в казанской библиотеке, выписывали газеты. Помню, какими событиями были для нас оказии из города и как нетерпеливо раскрывали мы заветный пещер (корзинка местной работы), содержащий книги, газеты и письма. Равно и обратно при оказии пещер нагружался возвращаемыми книгами и почтой. Связано у меня с ним и такое воспоминание. Один вечер все сидели за корреспонденцией, готовя почту, которую должен был забрать ранним утром в упакованном пещере работник тетки. Мне бросилось в глаза, что Володя, обыкновенно почти не писавший писем, строчит что-то большое и вообще находится в некотором возбуждении. Весь пещер был нагружен, мать уже улеглась, а мы с Володей сидели еще

по обыкновению. Я спросила, кому он писал. Оказалось, товарищу по гимназии, поступившему в другой, помнится, в один из южных университетов. Описал в нем, конечно, студенческие «беспорядки» в Казани, с очень резкими, как выяснилось из рассказа, выпадами по адресу инспектора и других властей предрежащих, и спрашивал о том, что было в их университете.

Я стала доказывать брату никчемность отправки такого письма, совершенно бесплодный риск новых репрессий, которым он себя этим шагом подвергал. Но переубедить его было всегда не легко. Он находил мои опасения преувеличенными и не хотел менять решения. Тогда я указала ему на риск, которому он подвергает товарища, отправляя письмо такого содержания на его личный адрес.

Тут Володя призадумался, а потом довольно быстро согласился с этим последним соображением, пошел в кухню и вынул, хотя и с видимым сожалением, злополучное письмо.

Позднее, летом, я имела удовольствие слышать от него в одной беседе по какому-то случаю между ним и двоюродной сестрой полусмешливое, полусерьезное заявление, что за один совет он мне благодарен. Это произошло после того, как он перечел провалявшееся несколько месяцев в его ящике письмо и подверг его уничтожению.

Кроме чтения, Владимир Ильич занимался в Кокушкине с младшим братом, ходил с ружьем, зимой на лыжах. Но это была его первая, так сказать, проба ружья, и охота была всю зиму безуспешная. Я думаю, что это происходило и потому, что охотником в душе, как другие два брата мои, он никогда не был.

Помню особенно ярко крутую, раннюю весну после этой, утомившей нас одинокой зимы,—первую весну, проведенную нами в деревне. Помню долгие прогулки и беседы с братом по окрестным полям под аккомпанемент неумолчно заливавшихся невидимых жаворонков в небе, чуть пробивавшуюся зелень и белевший по оврагам снег...

С осени 1888 года брату разрешено было поселиться с матерью в Казани, куда и переехала вся семья. Я оставалась еще некоторое время в деревне, по поздней осенью разрешено было переехать и мне. Квартира была снята в доме Орловой на Первой горе, недалеко от Арского поля, во флигеле. При квартире был балкон и довольно живописный садик по горе. В первом этаже было почему-то две кухни, одну из которых занял В. И., вследствие большей изоляции этого помещения.

Тут он начал чтение «Капитала» Маркса, рассказывая мне с большим увлечением о прочитанном. Тут завел понемногу некоторые знакомства, по больше уходил сам, чем принимал у себя. Фамилий его знакомых я не помню. Он был все же довольно осторожен из внимания к матери. Исключительное мужество, с которым мать переносила несчастье с потерей брата Александра, вызывало удивление и уважение даже со стороны посторонних людей. Тем более чувствовали это мы, дети, ради которых, для забот о которых она страшным усилием воли сдерживала себя. Надежда Константиновна говорила мне, что В. И. рассказывал о том удивительном мужестве, с которым перенесла мать потерю брата, а позднее сестры Ольги.

Влияние ее на нас с детства было огромное. Подробнее я скажу об этом в другом месте, здесь же укажу только на один эпизод из казанской жизни. Володя начал покуривать. Мать, опасаясь за его здоровье, бывшее в детстве и юношестве не из крепких, стала убеждать его бросить

курение. Исчерпав доводы относительно вреда для здоровья, обычно на молодежь мало действующие, она указала ему, что и лишних трат— хотя бы копеечных (мы жили в то время все на пенсию матери)—он себе, не имея своего заработка, позволять бы, собственно, не должен. Этот довод оказался реняющим, и Володя тут же и навсегда бросил курить. Мать с удовлетворением рассказала мне об этом случае, добавляя, что, конечно, довод о расходах она привела в качестве последней зацепки.

Мать стала тревожиться, что Володя «влетит» опять, и это отчасти побудило ее приобрести через М. Т. Елизарова (окончившего петербургский университет и участвовавшего со мной и покойным братом в одном землячестве) маленький хутор в Самарской губ. и выхлопотать разрешение переехать на лето туда. По выходе моем замуж за М. Т. Елизарова вся семья наша обосновалась в Самаре.

Опасения матери были не напрасны. Летом 1889 года в Казани был арестован кружок Федосеева, и В. И. говорил мне, что, оставшись он в Казани, он попался бы наверно тоже, так как был знаком с некоторыми из арестованных, хотя самого Н. Е. Федосеева не знал, и с деятельностью кружка, развернувшегося, очевидно, шире уже с весны, т.-е. с отъездом брата.

Этот благополучный исход дал возможность В. И. мирно заниматься в Самаре теоретической работой по изучению марксизма, пропагандой его среди молодой самарской публики, а также получить разрешение на сдачу экзамена экстерном; о чем много хлопотала мать.

Получив это разрешение, В. И. так усердно засел за подготовку, что в 1891 году, т.-е. не отстав ни на год от своего выпуска, сдал этот экзамен при Петербургском университете.

Д. М. Ульянов

Из моих воспоминаний о Владимире Ильиче Ленине

Более тридцати лет тому назад с Владимиром Ильичем произошел следующий случай, о котором я хочу вам рассказать.

Этот случай показывает, что не только в больших, великих делах, но и в мелочах, подобно описанной, Вл. Ильич проявлял силу воли и настойчивость. Что раз взявшись за какое-нибудь дело, он доводил его до конца, какие бы препятствия ни стояли ему на дороге.

В начале 90-х годов мы жили всей семьей в Самаре вместе с матерью. Владимир Ильич был помощником присяжного поверенного. Мы с Марией Ильиничной учились в гимназии. С нами жили также Анна Ильинична и ее муж, Марк Тимофеевич Елизаров, занимавший какое-то небольшое место, помнится, в казенной палате.

Летом 1892 года Вл. Ильич вместе с Елизаровым были в Сызрани. Оттуда они собрались проехать на несколько дней в деревню Бестужевку, где брат Марка Елизарова крестьянствовал. Для этого надо было проехать на левый берег Волги.

В то время в Сызрани переправу через Волгу монопольно арендовал богатый купец Арефьев. У него был небольшой пароходик с баржей,

на которых перевозились и люди, и лошади, и повозки. Купец запрещал лодочникам заниматься переправой, ревниво оберегая свои монопольные права. Поэтому каждый раз, когда лодочник набирал пассажиров в лодку, по распоряжению Арефьева, нагонял пароходик и отвозил всех обратно.

Вл. Ильичу не хотелось ждать переезда, и он уговорил Марка Елизарова ехать на лодке. Лодочники не соглашались везти, боясь купца и заявляя, что все равно он воротит их обратно. Однако Вл. Ильичу удалось-таки уговорить одного из них поехать, при чем он энергично доказывал, что если Арефьев вернет лодку, то будет предан суду за самоуправство.

Сели в лодку и двинулись на перевал. Арефьев, увидев с пристани, где он сидел за самоваром на балконе, крикнул Марку, с которым был знаком, как земляк:

— Бросьте, Марк Тимофеевич, эту затею. Ведь вы знаете, что я за переправу аренду плачу и не позволяю лодочникам перевозить на ту сторону. Идите лучше со мной чай пить и знакомого вашего ведите. Все равно, поедете на пароходе, велю вас воротить.

Вл. Ильич стал настаивать, теперь еще более решительно, продолжать путь и не слушать самодура. Лодочник уныло говорил:

— Все равно воротит, зря едем, сейчас пароход нагонит, баграми нас к борту, и вас ссадят на пароход.

— Да поймите вы,—сказал Вл. Ильич,—что он не имеет права этого делать. Если он лодку задержит и силой заставит нас вернуться, будет сидеть в тюрьме за самоуправство.

— Сколько раз он так проделывал, и никогда суда не бывало. Да и кто станет с ним судиться: очень большую силу забрал в Сызрани, и судьи-то у него, должно быть, все свои. Он, слышь, откупил Волгу у города, аренду платит, а нам вот что хочешь, то и делай.

Лодка, по настоянию Вл. Ильича, продолжала свой путь на левый берег, хотя было совершенно ясно, что Арефьев приведет свою угрозу в исполнение. Едва лодка достигла середины реки, послышался свисток пароходика, который, отцепив баржу, быстро погнался за лодкой.

— Ну, вот вам, и переехали,—произнес лодочник.—Сейчас обратно поедете. И никакой суд ничего сделать не может, он всегда правый будет.

Пароход, догнав лодку, остановил машину. Два-три матроса привычно работая баграми, подтянули лодку к борту и предложили пассажирам перебраться на пароход.

Вл. Ильич стал разъяснять служащим, что они не имеют права задерживать их и будут преданы суду за самоуправство, за что грозит тюрьма.

— Никакого значения, доказывал он,—не имеет то обстоятельство, что Арефьев арендовал переправу через реку, это его дело, а не наше, и это ни в коем случае не дает права ни ему, ни вам бесчинствовать на Волге и силой задерживать людей.

На это капитан возразил:

— Ничего мы не знаем: нам приказал хозяин парохода, и мы обязаны слушаться и исполнять его распоряжения. Пожалуйста, пересаживайтесь, мы не дадим вам ехать дальше.

Пришлось подчиниться. Но Вл. Ильич сейчас же записал имена и фамилии всех служащих, принимавших участие в задержке лодки, а также лодочника и других, как свидетелей.

На сызранском берегу пришлось ждать некоторое время перевоза, и опять слышно было, как Арефьев в победном тоне продолжал свои рассуждения о том, что он платит аренду, что лодочники не имеют права перевозить на тот берег, а потому он задерживает лодки и возвращает людей обратно.

Хотя, несомненно, были люди, которые не могли не видеть, что купец действует беззаконно, но не решались или не хотели тягаться с ним по судам. Одним это было невыгодно с материальной стороны, другие же, предвидя кучу хлопот, судебную волокиту и т. д., «русской» лени отказывались от борьбы.

Нужно было Вл. Ильичу столкнуться всего на несколько часов с этим стоячим обывательским болотом, чтобы основательно встряхнуть его, наказать главного виновника и научить лодочников, как надо бороться за свои права.

По возвращении через несколько дней в Самару, Вл. Ильич подал жалобу на Арефьева, обвиняя его в самоуправстве. Суть дела была ясна до очевидности, ни один юрист не мог рассматривать его действия иначе: как самоуправство, а за самоуправство по тогдашним законам полагалась тюрьма, без замены штрафом.

Однако добиться этого Вл. Ильичу стоило еще не мало хлопот. Дело разбиралось у земского начальника где-то под Сызранью, верст за сто от Самары, куда должен был поехать Вл. Ильич в качестве обвинителя. Несмотря на совершенную ясность дела, земский начальник под каким-то предлогом отложил разбор дела. Второй раз, уже холодной осенью, дело было вновь назначено к слушанию; Вл. Ильич опять поехал туда, но и на этот раз, при помощи разных формальных крючкотворств, земский отложил дело.

Очевидно, Арефьев, зная о безнадежности своего положения и грозящей ему каре, пустил в ход все свои связи, чтобы оттянуть по возможности дело. Ему и его защитникам казалось, что бросит же, наконец, этот беспокойный человек ездить за сотню верст, без всякой для него выгоды, без всякой пользы с их точки зрения. Не знали они, что этот человек не меряется обычной меркой, доступной их пониманию, что чем больше препятствий встречает он на своем пути, тем тверже и непреклонней становится его решение.

На третий разбор дела Вл. Ильич получил повестку уже зимой, в конце 1892 года. Он стал собираться в путь. Поезд отходил что-то очень рано утром, или даже ночью, предстояла бессонная ночь, скучнейшие ожидания в камере земского начальника, на вокзалах и т. д. Хорошо помню, как мать всячески уговаривала брата не ехать.

— Брось ты этого купца, они опять отложат дело, и ты напрасно проездишь, только мучить себя будешь. Кроме того, имей в виду, они там злы на тебя.

— Нет, раз я уже начал дело, должен довести его до конца. На этот раз им не удастся еще оттягивать.

И он стал успокаивать мать.

Действительно, в третий раз земскому начальнику не удалось столкнуть решение дела: он и защитник Арефьева встретили во Владимире Ильиче серьезного противника, хорошо подготовившегося к предстоящему бою, и земский начальник волей-неволей вынужден был, согласно закону, вынести приговор: месяц тюрьмы.

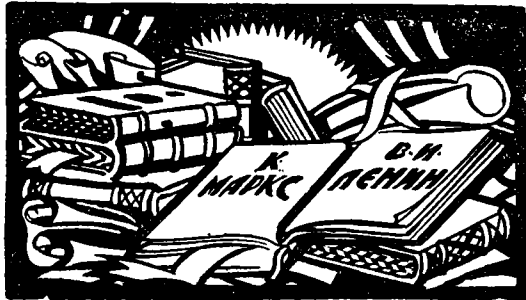
Года два спустя после описанной истории, я, проезжая в поезде близко от Сызрани, случайно встретил в вагоне одного из сызранских знакомых Марка Елизарова. В разговоре он расспрашивал про него и его семью и чрезвычайно интересовался Вл. Ильичем.

— А ведь Арефьев-то просидел тогда месяц в арестном доме. Как ни крутился, а не ушел. Позор для него, весь город знал, а на пристани-то сколько разговора было. До сих пор не может забыть.



IV

В. И. СОЗДАЕТ РАБОЧИЕ КРУЖКИ





В. А. Шелгунов

Из далекого прошлого Ильича



Владимиром Ильичем я познакомился вскоре после его приезда в Петербург, осенью 1893 года. Познакомил меня с ним Герман Борисович Красин.

В то время обращено было внимание на выделяющихся рабочих. Их выбирали из кружков и вели с ними отдельные занятия. В числе таких одиночек был и я.

Очевидно, Владимир Ильич по приезде в Петербург заставил обратить на себя внимание той части интеллигенции, с которой он здесь встретился. Когда меня знакомили с другими интеллигентами—Старковым, Кржижановским, Ванеевым,—то это происходило просто: назначали свидание, или посылали по определенному адресу, и никаких особых характеристик о них не давали. Но когда Герман Борисович заговорил со мной о Владимире Ильиче, то сказал: «С вами хочет познакомиться один очень интересный человек, который пишет». Конечно, в это слово «пишет» вкладывался смысл, что он пишет то, что нужно для нас.

Свидание было назначено у Германа Борисовича. Не помню, на какой улице, но помню, что комнатка была хотя и светлая, но очень маленькая. Я пришел в назначенное время, и минут через пять в комнату вошел человек. Одет он был больше, чем скромно: довольно потертая студенческая фуражка, рыженькое, тоже не первой молодости, пальто, брюки и сапоги тоже далеко не новые. Когда он снял фуражку, то мне представился лоб, с уже намечающимися углами лысинки, рыженькие усы и борода, видно, еще не стриженная. Волосы, усы, борода были тоже в каком-то беспорядке.

Лицо было как-будто в морщинах, так что он произвел на меня впечатление человека, которому было уже к сорока годам. Хотя он вошел непринужденно, просто и как-то весело поздоровался, но настоящее лицо его я увидал только в процессе разговора.

У Германа Борисовича на столе лежала книга Николай-он'а. «Очерки нашего пореформенного хозяйства». Как-то сразу мы об этой книге и заговорили. В то время о ней, вообще, много говорили. Не помню, в каких выражениях, но Владимир Ильич говорил об этой книге как-то пренебрежительно. Я эту книгу тоже просматривал и, может быть, под влиянием разговоров с Германом Борисовичем, но, как мне тогда казалось, я имел и свой собственный взгляд, и в особенности на взгляды

этого писателя на характер развития нашей промышленности, высказал свое мнение, которое сходилось с мнением Владимира Ильича.

В разговоре Вл. Ильич обратил наше внимание на книжку Парвуса «О рынках». К этой книжке у Вл. Ильича было совершенно другое отношение. Он настойчиво рекомендовал ее прочесть. Говорили мы недолго. Вл. Ильич дал мне адрес своей квартиры. Жил он тогда в Качьем переулке (что-то мне помнится, д. № 9, кв. 15, точно не помню).

В первый мой приход к нему он меня расспрашивал о кружках, о том, много ли таких рабочих, как я. Я назвал ему близких своих приятелей—Норинского, Фишера, Кейзера. После моих характеристик он высказал желание с ними познакомиться.

Вскоре я явился к Вл. Ильичу уже с Фишером. Когда мы пришли к нему, он изъявил желание прочесть нам, как он говорил, «очень интересную книжку». Книга была Бруно Шенланга «Промысловые синдикаты и тресты». В русском переводе ее еще тогда не было, и он прямо читал ее по-русски с немецкого текста.

Вл. Ильич ходил на кружки на Васильевский Остров и за Невскую заставу. С рабочими Невской заставы (Фунтиковым, Бабушкиным и др.) он знакомился уже не через меня, а через интеллигенцию.

Впоследствии он познакомился также с двумя видными, очень юными путилевскими рабочими: Борисом Зиновьевым и Петром Карамышевым. Б. Зиновьев и П. Карамышев жили в одной комнате. Владимир Ильич посещал их довольно часто. Особенно хорошо отзывался Вл. Ильич об этих трех юнцах: Ив. Бабушкине, Б. Зиновьеве и П. Карамышеве.

Из Ивана Васильевича Бабушкина вышел потом очень видный работник, Б. Зиновьев умер, а Карамышев чистакопился и отошел. Где он теперь—не знаю.

Характерной чертой Вл. Ильича было стремление, что называется, выуживать отдельных способных и подающих надежды рабочих. И когда он выуживал таких рабочих, то производил на них особенный нажим.

Нажим заключался в том, что он расспрашивал их о работе, о настроении рабочих, об отношении администрации и часто заставлял излагать ответы в письменной форме. Одним из результатов таких ответов была книжка «О штрафах».

Во время моих встреч с Вл. Ильичем он все время обращал внимание на то, чтобы нам завести связь с возможно большим количеством заводов. Не знаю, как появилась брошюра об агитации, но когда мы читали ее в Петербурге, то Ильич особенно настаивал на своевременности выхода из кружков к массам.

Когда перешли к агитации и со стороны некоторых рабочих поступали требования на листки, в которых освещались экономические нужды, Ильич все время говорил, что экономические вопросы ставить необходимо, но ставить их надо так, чтобы рабочему видно было, что без серьезных перемен политической жизни России экономическое положение рабочих не улучшится.

Не знаю, что заставило Ильича взяться за перевод книги супругов Вебб «Теория и практика английских тред-юнионов», но в разговорах со мной он все время говорил, что наши рабочие не должны идти по пути английских тред-юнионов.

В настоящее время, когда пройден такой длинный ряд лет, все это кажется само собой ясным, но в то время, когда еще остатки романтиче-



В. И.—гимназист в 1887 году.

ской революционности народовольчества, с одной стороны, и увлечение трезвых людей вопросами исключительно экономическими—с другой, нужно было уметь выбрать верное направление, и это направление было выбрано Ильичем.

Образованием «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» была поставлена первая веха, через которую прошел дальнейший путь к Российской Коммунистической Партии (большевиков), а затем и к Коммунистическому Интернационалу.

В. А. Князев

Из моих воспоминаний о В. И. Ульянове

¹Я работал в порту Нового Адмиралтейства в слесарной мастерской учеником с 1884 года, а в 1889 году вышел в мастеровые. Работа в порту шла тихо и примитивно—не пользовались даже и станками, какие были в мастерской. Спросишь, бывало, у указателя (мастера) наждачной бумаги отшлифовать медную вещь, а он в ответ: «Эх, плохой ты мастеровой! захотел наждачной бумагой, а ты возьми щепочку, насыпь наждаку, да и протри». Так и шла работа,—больше проводили времени, чем работали.

Но вот с Балтийского завода перешли в мастерскую несколько молодых мастеровых; впоследствии оказалось, что они были уволены с Балтзавода, как «опасный элемент». Они внесли в порт живую струю. Сейчас же пустили в ход стоявшие без работы станки, поденную работу перевели на штучную, благодаря чему заработки повысились.

Вместе с тем эти мастеровые повели среди рабочих социалистическую пропаганду, выбирая лучшие элементы из заводской молодежи. Началась организация кружков, в один из которых попал и я. Вкусив в кружке познания «добра и зла», я сейчас же стал распространять среди своих друзей то, что узнал в кружке. Кроме устной пропаганды, раздавались по рукам книжки, в которых высказывались идеи социализма. Изредка к нам попадала и нелегальная литература. Но она плохо «прививалась», так как была опасной, и еще потому, что давала лишь поверхностные знания об окружающем.

Для целей правильного политического развития рабочих, у нас в порту устранивались, так называемые в те времена, «демократические университеты» при слушателях не более 5 человек. При этом говорили так: «если рабочий не может притти в университет сам, то университет придет к нему». И, действительно, работа по развитию членов кружка шла быстро. Прослушав беседы в этих кружках в течение четырех лет, рабочий уже получал звание «интеллигента».

Руководителями наших кружков были студенты высших учебных заведений, они же были и организаторами кружков.

Когда в 1891—92 гг. ¹⁾ Владимир Ильич Ульянов совместно с Запорожцем, Старковым и др. составил программу кружков по образцу программы германской с.-д., работа в наших рабочих кружках стала более углубленной и правильной.

¹⁾ Правильнее—с 1893 г.

Когда я организовал несколько рабочих кружков на Петроградской стороне, на Васильевском острове, на Выборгской стороне и в посаде Коллино и заявил, что необходимо прислать интеллигентов в эти кружки для чтения лекций, то мне в нашем центре сказали: «хорошо, в вам придет Николай Петрович. Это один из лучших, поэтому люди в кружках должны быть благонадежными и серьезными».

В силу этой директивы, я отобрал среди завербованных в члены кружков рабочих, более мне известных: Ильина, Астафьева, Крылова, Ниландера, сам же был пятым. Первое собрание этого нашего кружка состоялось на Петроградской стороне в доме угол С'езжинской и Пушкикарской улиц, в комнате, в которой я жил, и которая имела отдельный ход с лестницы, так что мои квартирные хозяева не видели, кто ко мне приходил.

В назначенный час ко мне кто-то постучал. Открыв дверь, я увидел мужчину лет тридцати, с рыжеватой маленькой бородкой, круглым лицом, с пронзительными глазами, с нахлобученной на глаза фуражкой, в осеннем пальто с поднятым воротником, хотя дело было летом, вообще,—на вид этот человек показался мне самым неопределенным по среде человеком. Войдя в комнату, он спросил: «Здесь живет Князев?». На мой утвердительный ответ заметил: «а я—Николай Петрович».—«Мы вас ждем»,—сказал я. «Дело в том, что я не мог притти прямым сообщением... Вот и задержался. Ну, как, все налицо?»—спросил он, снимая пальто.

Лицо его казалось настолько серьезным и повелительным, что его слова заставляли невольно подчиняться, и я поторопился успокоить его, что все пришли и можно начинать.

Подойдя к собравшимся, он познакомился с ними, сел на указанное ему место и начал знакомить собрание с планом той работы, для которой мы все собрались. Речь его отличалась серьезностью, определенностью, обдуманностью и была, как бы, нетерпящей возражений. Собравшиеся слушали его внимательно. Они отвечали на его вопросы: кто и где работает, на каком заводе, каково развитие рабочих завода, каковы их взгляды, способны ли они воспринимать социалистические идеи, что больше всего интересует рабочих, что они читают и т. д.

Главную мысль Николая Петровича, как мы поняли, было то, что люди неясно представляют себе свои интересы, а, главное, не умеют пользоваться тем, чем могли бы воспользоваться. Они не знают, что, если бы они сумели объединиться, сплотиться, в них была такая сила, которая могла бы разрушить все препятствия к достижению лучшего. Приобретя знания, они смогли бы самостоятельно улучшить свое положение, вывести себя из рабского состояния и т. д.

Речь Николая Петровича продолжалась более двух часов; слушать его было легко, так как он все объяснял, что было нам непонятно. Сравнивая его речь с речами других интеллигентов, становилось ясно, что она была совсем иной, выделялась, и, когда Николай Петрович ушел, назначив нам день следующего собрания, то собравшиеся стали спрашивать меня: «кто это такой? здорово говорит, без запинки....».

Но я им объяснить не мог, кто был Николай Петрович, так как сам его в то время не знал. Он посещал нас часто—раз в неделю. Посещал он также и другие кружки, которые ему указывали. Удалось организовать кружок на Черной речке и у рабочего П. Дмитриева. Николай Петрович посещал и этот кружок, несмотря на дальность расстояния. По-

сецал он кружок и на 8-й линии Васильевского острова у Крочкина-Федорова, около Черной речки. Этот кружок был для Николая Петровича роковым—его там проследили. Кружок этот—пять человек—был арестован в ноябре 1894 года.

Так как я был членом центрального кружка, то у меня на квартире собирались и представители других кружков и интеллигенты. Эти собрания были еще более конспиративны. На этих собраниях руководителем был тот же Николай Петрович. Но как его звали по-настоящему,—никто из рабочих и здесь не знал. Николай Петрович на этих собраниях распределял по кружкам интеллигентов-пропагандистов и давал им указания, знакомил их с тем, что представляли из себя эти кружки и что читать в них.

В 1893 году умерла моя бабушка, и мне предстояло получить наследство. Зная, что я всегда могу получить совет со стороны товарищей, как мне поступить, с тем, чтобы это наследство попало мне в руки, я обратился к ним. Они меня отправили к помощнику присяжного поверенного В. И. Ульянову, предупредив при этом меня, чтобы я адреса его не записывал, а запомнил бы, а если и придется записать, то записать условно, прибавив к числам № дома и № квартиры число 9.

Придя в дом № 7, в Казачий переулок, в квартиру № 13, я отыскал по данному мне плану эту квартиру: На звонок дверь мне открыла квартирная хозяйка, заявив, что Ульянова дома нет, но он скоро будет, и разрешила мне обождать его в его комнате. Комната имела два окна. Меблировка ее была очень скромная: железная кровать, письменный стол, три-четыре стула, комод. Осмотрев все, я задумался:—что это за адвокат, и возьмется ли он за мое дело... Раздался звонок, и вскоре в комнату вошел мужчина в цилиндре ¹⁾: «А, вы уже ждете?»—сказал он мне и при этом быстро скинул пальто и стал расправлять немного помятый фрак,—«ну-с, одну минуточку,—я сейчас переоденусь и мы с вами займемся».

Посмотрев этому адвокату в лицо,—я обомлел: да это же ведь Николай Петрович! Пока я приходил в себя, передо мною появился переодетый в другую одежду Николай Петрович, и, указывая на стул, обратился ко мне: «вы расскажите мне все по порядку». Сев, я, как умел, начал рассказывать, а он, перебивая меня, требовал пояснений, как бы вытаскивая из меня один факт за другим. Узнав от меня, что бабушка моя умерла в услужении у одного генерала, и что последний может присвоить наследство, хотя и имеет собственный каменный дом в три этажа, Николай Петрович потер руки и сказал с ударением на этих словах: Ну, что же, отберем дом, если выиграем. Затруднение лишь в том, что очень трудно отыскать посемейный список, так как покойная из крепостных».

Сказав это, он взял бумагу и стал писать прошение для получения ревизских сказок. Написав его, он указал мне, куда придется ходить, куда подавать и велел по получении того или иного сообщения по делу, прийти к нему.

— Ну, а теперь перейдемте к другому вопросу. Как дело в кружках? Что на заводах?—стал спрашивать меня Николай Петрович. Я едва успевал ему отвечать. «Вы,—сказал он мне,— как непосредственно связанный с кружками, должны узнавать, что происходит на заводах, чем

¹⁾ Конечно, для конспирации.

недовольны рабочие и кто в этом виновен. Вы должны знать интересы рабочих, чем они больше интересуются, как к ним подойти».

Я слушал и чувствовал, что все эти требования выполнить довольно трудно, но Николай Петрович так уверенно все говорил, что я не осмелился отказаться.

«Вот,— продолжал он,—вы организовали кружок. Сами вы должны стать выше их по знанию, чтобы руководить. Вы должны больше читать, развиваться и развивать других. Я слышал, что вы любите ходить на танцы, но это бросьте,—надо работать во-всю. Вы должны развиваться политически, и тогда вся ваша работа в кружке будет для вас наслаждением. Вы должны пройти политическую экономию. Я об этом поговорю с Дзержинским или с Запорожцем».

Мы расстались. От взваленных им на меня обязанностей мне стало тяжело. Выйдя от него на улицу, я почувствовал облегчение и стал обдумывать, как все выполнить. Встретясь дня через два с Запорожцем, я рассказал ему про свою встречу с Николаем Петровичем—В. И. Ульяновым—и о том, что он мне наказал сделать. Выслушав меня, Запорожец засмеялся и сказал: «ничего, ничего, берите с него пример. Он и сам очень много работает. Надо же и нам работать и помогать ему».

С тех пор я стал периодически посещать В. И. Ульянова, давая ему сведения, которые получал с завода, и каждый раз получал от него новые инструкции.

«Погодите, погодите,—говорил он,—придет время, когда мы заставим слушать нас и добьемся права организации. Нам будет легче. Важно, чтобы нас поняли рабочие, и тогда мы приобретем силу и поставим нашу жизнь так, как мы захотим, сбросим рабство и послушание этим бездарным бюрократам, живущим только для своего благополучия. За границей рабочие уже объединились и заставляют себя слушать. Мы не должны от них отставать и должны заявить о себе». Говорил это В. И. Ульянов с некоторым оживлением. Я ушел от него в приподнятом настроении и с усиленным желанием работать.

На заводе я, в свою очередь, старался рассказывать все, что слышал от Владимира Ильича. Рабочие слушали меня со вниманием, их отношение ко мне переменилось, и меня они стали уважать. Но недолго это продолжалось. Слухи о моей пропаганде дошли до начальства, и мне пришлось уйти с завода.

Придя как-то к В. И. Ульянову, я услышал от него вопрос: «а что, если бы вас арестовали, вы знаете, как держаться на суде?» «Да,—ответил я,—нам говорил про это уже Осип Иванович». (Последний был арестован в 1892 году). Рецепт, как держаться на допросе, состоял в том, чтобы не давать никаких показаний, не держать при себе фотографических карточек и адресов.

«Ну, так вот,—продолжал,—если знаете, то объясните и всем товарищам. То, что вам говорили о допросах,—это обезоруживает жандармов. Имеется ли у вас касса? Библиотека? Из каких книг она состоит? Нам надо организовать хорошую библиотеку, составить соответствующую программу чтения. Надо знать, как надо помогать арестованным и ссыльным. Для этого необходимы средства. Надо обязать членов партии вносить членские взносы, устраивать лотереи и пользоваться всеми возможными источниками для добывания денежных средств».

Владимир Ильич старался передать мне все, что было необходимо для нашей организации. Просидев у него около часа, я ушел, обещая ему все, по возможности, выполнить.

А вскоре узнал, что он был арестован. Вскоре же после его ареста был арестован и я, а затем выслан в Вятскую губернию.

Арест В. И. Ульянова и мой помешали мне закончить ведшееся им дело о получении наследства.

А. Елизарова

Первое выступление в Москве

На рождественские праздники 1893—1894 г. Владимир Ильич приезжал к нам в Москву. И тут имел место очень интересный диспут его с народниками. Вот что рассказывает о нем в своих рукописных воспоминаниях тов. Голубева-Яснева:

«Я хочу описать маленький эпизод богатой не только фактами, но и историческими событиями, жизни Владимира Ильича—это одно из первых его публичных выступлений на довольно большом по тому времени нелегальном собрании. Владимира Ильича я знаю давно: в 1890 г., когда я познакомилась с ним, он был совсем еще молодым человеком, изучавшим Маркса и вообще страшно много работавшим над собой; меня, помню, страшно изумляла его работоспособность необычайная. Но уже и тогда, в молодые годы, это был вылитый из стали Владимир Ильич с готовым, продуманным, остроумным и метким ответом на устах.

Жили мы тогда в Самаре Поволжье переживало голод (1891 г.), давший как бы толчок всему оппозиционно-настроенному; преобладали, конечно, народнические течения, а у Владимира Ильича была уже своя определенная точка зрения, своя определенная линия поведения. Заходил ли вопрос о голоде, о помощи голодающим, об участии нас, революционеров, в рабочих общественных столовых,—у Владимира Ильича на все был свой выгодно отличавшийся своею определенностью и революционной (это мое тогдашнее определение) выдержанностью ответ.

Вернусь к описываемому эпизоду. Было это зимой 1893—94 г. Я тогда была выслана под гласный надзор в Тверь. Но, пользуясь близостью, часто удирала и приезжала в Москву, где заводила порванные связи. Москва после голодного 1891—92 г.г. несколько оживилась, появилось много разных кружков и организаций: народовольцы, народоправцы, культурники и т. п. Пора проповеди маленьких дел еще не прошла. Я вела сношения по преимуществу с группой, так называемых, народовольцев, и вот в один из моих приездов в Москву один из этих народовольцев дал мне билет на нелегальную вечеринку, очень, мол, «конспиративно» обставленную, где мы соберемся поговорить без замка на устах и обсудим общую линию поведения. «Так как вечеринка предполагает собрать по возможности всех идущих врозь, но бьющих вместе, то, может быть, вы приведете с собой еще кого-нибудь, но только интересного».

Я подумала, взяла билет и отнесла его Владимиру Ильичу. В те времена я была еще выдержанной якобинкой, сравнительно редко видела за этот период Владимира Ильича, но то, что он говорил, так долбил мозг, что мне казалось, что именно он скажет новое слово, укажет

новый путь для выхода из того разброда, который царил тогда. Вот почему именно ему, а не кому-либо другому я понесла билет на эту вечеринку. Владимир Ильич согласился не сразу, но все-таки мы отправились» (М. Голубева).

Вечеринка эта имела место в «Гиршах» (дом Гирша, где-то на Бронных, кишевший тогда студентами). Квартира из трех, помнится, комнат была набита народом. Преобладало студенчество, но и интеллигентные круги Москвы были сильно представлены. Был прочитан какой-то реферат. Я реферата не помню, может быть, потому, что пришла с опозданием. Помню лишь дебаты, принявшие скоро горячий характер, особенно после того, как одному очень солидному народнику, невысокого роста, плотному с лысиной, блондину, к которому молодежь обращалась очень почтительно и который сидел в некотором роде «к красном углу», стал возражать Владимир Ильич.

Помню, что брат, тогда 23-летний юноша, стоял с толпой молодежи в дверях в другой комнате и сначала произнес несколько смелых проищеских «пвишенруфов», заставивших всех—большинство очень неодобрительно, повернуть головы в его сторону, а затем взял слово.

Смело и решительно, со всем пылом молодости и силой убеждения, но также вооруженный и знаниями, он стал разбивать доктрину народников, не оставляя в ней камня на камне. И враждебное отношение к такой «мальчишеской дерзости» стало сменяться постепенно, если не менее враждебным, то уже более уважительным отношением.

Большинство стало смотреть на него, как на серьезного противника. Марксистское меньшинство ликовало,—особенно после второго, в ответ солидному народнику, слова Владимира Ильича. Снисходительное отношение, научные возражения более старшего собеседника не смущали брата. Он стал подкреплять свои мнения также научными доказательствами, статистическими цифрами и с еще большим сарказмом и силой обрушился на своего противника. Все собеседование обратилось в турнир между этими двумя представителями «отцов и детей». С огромным интересом следили за ним все, особенно молодежь. Народник стал сбавлять тон, цедить слова более вяло и, наконец, ступевался.

Марксистская часть молодежи торжествовала победу. Рассказывает об этом «разговорном собрании» и Чернов в своих «Записках социалиста-революционера».

«Впервые знакомство (с народоправцами) состоялось на одном из «разговорных собраний», гвоздем которого были иногородние гости. Один из них, несколько пасмурный и рыжебородый, был мне заочно хорошо известен по литературе: то был Василий Павлович Воронцов (В. В.). На другого мне таинственно указал кто-то: «Обратите внимание вот на того, молодого, с лысинкой: это очень-очень интересный человек, он среди питерских марксистов—большая шишка; его брат тоже был крупной величиной, он повешен по народовольческому делу».

Это был Владимир Ульянов (Ленин). Он показался мне очень невзрачным; его картавящий голос, однако, звучал уверенностью и чувством превосходства. Он тогда еще не злоупотреблял «ругательностью» и производил приемами спора, в общем, весьма благоприятное впечатление.

На него с большим азартом налетал В. П. Воронцов: «Ваши положения бездоказательны, ваши утверждения голословны. Покажите нам, что дает право вам утверждать подобные вещи; предъявите нам ваш ана-

лиз цифр и фактов действительности. Я имею право на свои утверждения, я его заработал: за меня говорят мои книги. Вот с другой стороны свой анализ дал Николай—он (в то время только что появились его «Очерки»). А где ваш анализ? Где ваши труды? Их нет»!

Этот способ аргументации на нас не производил впечатления; что всякое молодое поколение не может сразу пред'явить фундаментальных трудов, было нам понятно и в наших глазах не могло его дискредитировать. В. П. Воронцов, показалось нам, злоупотребляет случайными выгодами такой несущественной вещи, как историческое первородство его направления. Ульянов «огрызался» очень успешно, деловито, слегка насмешливо и хладнокровно. Их стычка, впрочем, выродилась быстро в беспорядочный диалог; его пришлось прервать, так как он все более принимал личный характер.

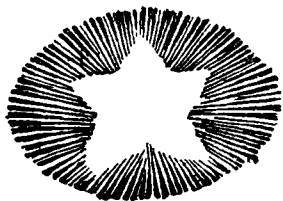
— С кем это я спорил,—спросил, по словам т. Голубевой, Владимир Ильич, с которой он вышел в переднюю.

— Да с В. В. (Воронцов, известный писатель-народник). Он страшно рассердился.

— Что же вы мне не сказали раньше. Если бы я знал, что это В. В., я бы и спорить не стал с ним,—сказал Владимир Ильич.

«Я поняла в том смысле эти его слова, что он считал спор с В. В. бесполезным,—все равно, мол, его не переубедишь,—и потому стала оспаривать целесообразность такого спора и доказывать, какое большое значение он имел для слушателей. И, действительно, впечатление, произведенное речами Владимира Ильича, было громадное. О нем говорили, как о новой звезде, появившейся на горизонте,—одни с удовольствием и удовлетворением, другие с завистью и оглядкой,—что, мол, из этого будет» (М. Голубева).

Я тоже помню, что диспут этот с живостью обсуждался и комментировался в кружках молодежи, многих из которой Владимир Ильич переубедил и убедил, толкнув их на путь изучения Маркса. Марксисты заметно подняли головы, а имя «петербуржца», раздававшего так основательно В. В., было одно время у всех на устах.



V

ТЮРЬМА И ССЫЛКА В СИБИРЬ





А. Елизарова

Владимир Ильич в тюрьме

Декабрь 1895 г.—февраль 1897 г.).



Владимир Ильич был арестован 9 декабря ст. ст. 1895 года. Месяца за полтора до этого я с матерью была у него в Петербурге. Он жил в Б. Казачьем пер.—вблизи Сенного рынка—и числился помощником присяжного поверенного. Несколько раз брат выступал, но, кажется, только по уголовным делам, по назначению суда, т. е. бесплатно, причем облакался во фрак покойного отца. В это время круг его знакомых был уже довольно широк; он много бегал и суетился. У него на квартире я познакомилась с Василием Андреевичем Шелгуновым, тогда еще зрячим. Владимир Ильич рассказывал о том, как удирали от шпионов. Помню один его рассказ, как, заметив шпионов в воротах дома, из которого выходил, он юркнул в парадный подъезд того же дома и потесался оттуда над метавшимися в поисках его соглядатаями, а кто-то из проходивших с удивлением поглядел на него, сидевшего в кресле швейцара и покачивавшегося со смеху.

Владимир Ильич предупреждал меня тогда о возможном аресте, о том, чтобы не пускать мать для хлопот о нем в Питер.

Он знал, как и все мы, что тяжелое для всех матерей хождение по мытарствам при аресте сына для нее еще во много раз тяжелее, так как заставит ее вновь переживать все, что она перечувствовала в питерской охранке и департаменте полиции при хлопотах о брате Александре Ильиче. По этой причине я приезжала после ареста Владимира Ильича в Питер одна, а потом, с лета 1896 г., жила вместе с матерью и ходила большей частью сама, иногда с ее прошениями, в эти присутственные места, связанные для нее с такими тяжелыми воспоминаниями.

И, действительно, около половины декабря мы получили сообщение об его аресте (от Чеботаревых, у которых он оставался). Очень скоро, вслед за арестом к нам приехала Надежда Константиновна Крупская с поручением от брата. В шифрованном письме он просил срочно предупредить нас, что на вопрос, где чемодан, привезенный им из-за границы, он сказал, что оставил его у нас, в Москве: «Пусть купят похожий, поажу на мой; скорее, а то арестуют». Так звучало его сообщение.

Запомнила это, так как пришлось с различными предосторожностями покупать и привозить чемодан, относительно внешнего вида которого Надежда Константиновна сказала нечто очень неопределенное, и который оказался, конечно, совсем непохожим на привезенный из-за границы, с двойным дном. Чтобы чемодан не выглядел прямо с иглочки, я взяла его с собою при поездке в Петербург в январе 1896 года с целью навестить брата и узнать о его деле.

Этот чемодан очень беспокоил всех товарищей в первое время после ареста: хотя Ильича и пропустили с ним, но вопрос о нем при аресте или тотчас после него показывал, что внимание на себя чемодан обратил, что, пропустив его на границе,— может быть, намеренно, с целью пожать большие плоды,— они потеряли его, очевидно, в Петербурге и разыскивали следы его. Владимир Ильич рассказывал, что на границе чемодан не только повернули вверх дном, но еще и прищелкнули по дну, вследствие чего он решил, что наличие второго дна установлено, и он влетел.

Помню, что первое время в Петербурге во всех переговорах с товарищами, в обмене шифром с братом и в личных беседах с ним на свиданиях чемодан этот занимал такое большое место, что я отворачивалась на улице от окон магазинов, где был выставлен этот, настолько осатаневший мне, предмет: видеть его не могла спокойно. Но, очевидно, концов с ним найдено не было, и это обвинение, как часто бывало, потонуло в других, относительно которых нашлись более неопровержимые улики.

Вторым, приехавшим к нам в Москву после ареста брата, был Михаил Александрович Сильвин; он рассказал о письме Владимира Ильича, написанном из дома предварительного заключения на адрес Александры Кирилловны Чеботаревой, у которой брат обедал и знакомство с которой было поэтому официально признанным. Письмо это было первым, если не считать коротеньких записок с просьбой доставить те или иные вещи. На письме стоит дата 2/1—1896 года. Владимир Ильич говорит в нем о плане той работы, из которой получилась его книга «Развитие капитализма в России». Письмо это, конечно, адресуется, собственно, товарищам, оставшимся на воле, что даже и отмечается в письме: «Может быть, вы сочтете не бесполезным передать это письмо кому-нибудь, посоветоваться». Но серьезный тон длинного письма с приложенным к нему длиннейшим списком научных книг, статистических сборников искусно замаскировал тайные его цели, и письмо дошло беспрепятственно, без всяких помарок. А между тем, Владимир Ильич в нем ни больше, ни меньше, как запросил товарищей о том, кто арестован с ним; запросил без всякого предварительного уговора, но так, что товарищи поняли и ответили ему тотчас же, а бдительные аргусы ничего не заподозрили.

— В первом же письме Владимир Ильич запросил нас об арестованных,— сказал мне с восхищением Сильвин,— и мы ответили ему.

К сожалению, уцелела только первая часть письма,— приложенного к ней списка книг нет: очевидно, он застрял и затерялся в процессе розыска их. Большая часть перечисленных книг была действительно ружна Владимиру Ильичу для его работы, так что письмо метило в двух зайцев и, в противовес известной поговорке, попало в обоих. Я могу только восстановить по памяти некоторые из тех заглавий, которыми Владимир Ильич, искусно влетая их в свой список, запросил об участии товарищей. Эти заглавия сопровождались вопросительным зна-

ком, которым автор,—смотри последний абзац его письма,—обозначал якобы неточность цитируемого на память названия книги и который в действительности отмечал, что в данном случае он не книгу просит, а запрашивает. Запрашивал он, пользуясь кличками товарищей. Некоторые из них очень подходили к характеру нужных ему книг, и запрос не мог обратить внимания. Так, о В. В. Старкове он запросил: «В. В. Судьбы калитализма в России?»—Старков звался «Вева». О нижегородцах Ванееве и Сильвине, носивших клички «Минина» и «Пожарского», запрос должен был уже остановить более внимательного контролера писем заключенных, так как книга не относилась к теме предполагавшейся работы,—это был Костомаров—«Герои смутного времени». Но все же это была научная, историческая книга, и, понятно, требовать, чтобы просматривающие кипы писем досмотрели такое несоответствие, было бы требовать от них слишком большой дозы пронизательности. Однако же, все клички укладывались так сравнительно удобно в рамки заглавий научных книг, и одной из следующих, перемеженных, конечно, рядом действительно нужных для работы книг, было уже Брэм — «О мелких грызунах». Здесь вопросительный знак запрашивал с несомненностью для товарищей об участии Г. М. Кржижановского, носившего кличку «Суслик». Точно также по-английски написанное заглавие: Maune - Rid „The Mynoga“ означало Надежду Константиновну Крупскую, окрещенную псевдонимом «рыбы» или «миноги». Эти наименования могли бы, как будто, остановить внимание цензоров, но серьезный тон письма, уйма перечисленных книг, а, кроме того, предусмотрительная фраза, стоявшая где-то во втором (потерянном) листке: «разнообразие книг должно служить коррективом к однообразию обстановки»,—усыпили бдительность аргусов.

К сожалению, в памяти моей сохранились лишь эти несколько заглавий, по поводу которых мы когда-то немало поохотали. Еще я вспоминаю только Goutchioul (или Coutchiouille), намеренно сложным французским правописанием написанная фамилия фантастического автора какой-то исторической книги (названия ее уже не помню). Это должно было обозначать Гудцулл, т. е. «Запорожец».

Мои стремления дополнить этот список привели только к одному результату: к подтверждению указанного мне Мих. Алекс. Сильвиним, от которого впервые я услышала об этой хитрости брата, и Надеждой Константиновной Крупской, которая получала письма брата. Ничего больше вспомнить они не могли. Но и перечисленные мною «книги» дают достаточное представление о том, каким образом Владимир Ильич перехитрил жандармов и дал товарищам идею о способе передачи. В ответном письме, переписанном рукою А. К. Чеботаревой и отправленном от ее имени, они сообщили со своей стороны о ком-то тем же способом. Помню только ясно, что по поводу «Героев смутного времени» Сильвин рассказывал, что они ответили: «в библиотеке имеется лишь I том сочинения», т. е. арестован лишь Ванеев, а не Сильвин.

Я приехала в Петербург в первой половине января 1896 г., прибыла приблизительно с месяц, получила несколько свиданий с братом, доставила ему большое количество книг (тогда выдавалось без ограничений), выполнила, кроме того, некоторую дозу поручений, которых у Ильича и вообще всегда бывало много, а в тюрьме, понятно, тем больше, подыскала ему «невесту» на время моего отсутствия и уехала. Относительно «невесты» для свиданий и передач помню, что на роль таковой

предлагала себя Надежда Константиновна Крупская, но брат категорически восстал против этого, сообщив мне, что «против нейтральной невесты ничего не имеет, но что Н. К. другим знакомым показывать на себя не следует».

Через месяц приблизительно я снова приезжала на некоторое время в Питер, а с мая мы вместе с матерью и сестрою Марией Ильичной приехали туда с тем, чтобы поселиться на даче поблизости, навещать брата и заботиться о нем. Для меня выезд из Москвы на это лето диктовался еще отношением ко мне московской полиции и жандармерии, предложившей мне выехать перед коронацией Николая II из Москвы.

Мы разделили свидания. Мать с сестрой отправлялись на личные, по понедельникам—в те времена на них давалось по полчаса,—а я по четвергам, на свидания за решеткой, которые мы с братом предпочитали, во-первых, потому, что они были более продолжительны,—минимум час (помню одно свидание, длившееся 1½ часа),—а, главным образом, потому, что на них можно было сказать гораздо больше: надзиратель полагался один на ряд клеток, и говорить можно было свободнее. Мы пользовались с братом псевдонимами, о которых условливались в шифрованных письмах,—так, помню, что злополучный чемодан фигурировал у нас под наименованием: лампа. Пользовались, конечно, во-всю иностранными словами, которые вплетали в русскую речь. Так, стачка у нас именовалась по-английски «страйк»; стачечники—«гревисты» с французского и т. д.

Этим летом (1896 г.) происходили крупные стачки текстильщиков в Петербурге, перекинувшиеся затем в Москву,—стачки, произведшие эпоху в революционном движении пролетариата. Известно, какой переполох создали эти стачки в правительственных кругах, как царь боялся вследствие их вернуться в Питер с юга. В городе все кипело и бурлило. Было чрезвычайно бодрое и подъемное настроение. Год коронации Николая II с его знаменитой Ходынской отмечен первым пробным выступлением рабочих двух главных центров,—как бы первым, зловещим для царизма, маршем рабочих ног,—еще не политическим, правда, но уже тесно сплоченным и массовым. Более молодым товарищам трудно оценить и представить себе все это теперь, но для нас, после тяжелого гнета 80-х годов, при кротообразном существовании подполья и разговорах по каморкам, стачка эта была громадным событием. Перед нами как бы «распахнулись затворы темницы глухой в даль и блеск лучезарного дня», как бы выступил, сквозь дымку грядущего, облик того рабочего движения, которым могла и должна была победить революция. И социал-демократия из книжной теории, из далекой утопии каких-то марксистов-буквоедов приобрела плоть и кровь, выступила, как жизненная сила, и для пролетариата, и для других слоев общества. Какое-то окно открылось в душном и спертom каземате российского самодержавия, и все мы с жадностью вдыхали свежий воздух и чувствовали себя бодрыми и энергичными, как никогда.

С одной стороны, это настроение воли должно было, вероятно, вызвать во Владимире Ильиче и его товарищах более страстное стремление выйти на простор из тюрьмы; а, с другой,—бодрое настроение за стенами при общении с ним, которому тогдашние, очень льготные, как сравнительно с предыдущим, так и с последующим периодом, условия заключения давали широкую возможность,—поддерживало, несомненно,

бодрость в заключенных. Известно, ведь, что никогда тюрьма не переносится так тягостно, как в годы затишья и реакции; естественная в тюрьме склонность—преувеличивать мрачные стороны—пугается общей атмосферой.

Поэтому, к счастью для Ильича, условия тюремного заключения сложились для него, можно сказать, благоприятно. Конечно, он похудел и, главным образом, пожелтел к концу сиденья; но даже желудок его, относительно которого он советовался за границей с одним известным швейцарским специалистом, был за год сиденья в тюрьме в лучшем состоянии, чем в предыдущий год на воле. Мать приготавливала и приносила ему три раза в неделю передачи, руководствуясь предписанной ему указанным специалистом диетой; кроме того, он имел платный обед и молоко. Очевидно, сказалась благоприятно и регулярная жизнь этой российской «санатории», жизнь, о которой, конечно, нечего было и думать, при первой беготне нелегальной работы.

Хорошо чувствовал себя Владимир Ильич и потому, что сразу наладился на долгое сидение и на занятия. Он решил использовать питерские библиотеки, чтобы добыть материалы для намеченной себе работы,— материалы, которых, как он знал, в ссылке не получить. И он интенсивно засел за работу, изучив в тюрьме массу источников, сделав массу выписок. Ворохами таскала я ему книги из библиотеки Вольно-Экономического общества, Академии Наук и других научных хранилищ (большую помощь в добыче книг оказывал А. Н. Потресов и другие товарищи). Пользование книгами было в то время поставлено также в очень льготные условия. Они просматривались не жандармами, а прокурором судебной палаты. Никаких формальностей и никакой волокиты не было: книги можно было принести в любой день, даже довольно поздно,— часов в 5 дня, в канцелярию, помещавшуюся в верхнем этаже здания суда на Литейном, и попросту вписать их в лежавшую там большую книгу на имя такого-то заключенного, так что можно было принести любому товарищу, не боясь обнаружить свое с ним знакомство. Помню, что мне подбрасывали еще книг для кого-нибудь, которому никто не носил регулярно, и я вписывала их от вымышленного имени, пока чиновник предоставлял мне вписывать кучу принесенных для брата. Особенно удобно было притти попозже, когда чиновники разойдутся, и, кроме сторожа у двери, да и то не особенно усердного, никого уже нет. Я приносила книги два раза в неделю,— по средам и субботам. В каждой пачке книг была одна с шифрованным письмом—точками или штрихами карандашом в буквах. Таким образом, мы переписывались во все время заключения брата. Получив кипу книг, он прежде всего искал ту из них, где по условленному значку было письмо. Доставка книг от прокурора происходила без всякой задержки,— на другой же день они обычно передавались заключенным. Помню несколько случаев, когда я, торопясь передать какие-нибудь сведения или запросить о чем-нибудь Ильича, приносила ему книги в среду и получала от него шифрованный ответ в сдаваемой мне книге на следующий день, в четверг, от тюремных надзирателей.

Обмен, таким образом, происходил идеально быстро. А в тот же четверг на свидании за решеткой брат уточнял мне кое-что в письме. Таким образом, передача Владимиру Ильичу о событиях на воле была очень полной,— у меня была тесная связь с оставшимися на воле членами «Союза борьбы», и я специально выдавалась с ними перед свиданием,

чтобы получать из первых рук—от Надежды Константиновны, Якубовой, Сильвина и других—сведения о ходе работы и забастовки, которые, кроме того, и из более широких источников слышала. Так как приходилось умудряться, чтобы многое сказать или уловить в иносказаниях, то час этот проходил в напряженной часто работе мысли, а по видимости в очень беспечной и оживленной болтовне. Брат был неистощим на выдумки. Помню, как раз, когда мы увлеклись иностранными терминами, проходивший за его спиной надзиратель, из строгих, остановился и сказал: «На иностранных языках говорить не разрешается, только на русском». Брат быстро повернулся к нему: «Нельзя? Ну, так мы по-русски говорить будем. Итак, скажи ты этому золотому человеку,—продолжал он прерванный со мною разговор,—что...». Я со смехом кивнула головой: «золотой человек» должно было обозначать Гольдман—имя одного из товарищей¹⁾, т. е. Ильич, приспособляясь к обстоятельствам, прибег к обратному переводу, чтобы замаскировать фамилию немецкого корня переводом его на русский язык.

Говоря о впечатлениях от прочитанной им книги (с шифрованным письмом), Ильич беседовал об этом письме. Кроме событий на воле, я должна была осведомлять его о товарищах, сидевших с ним, передавать вести от них и обратно. Для этого надо было всегда притти раньше в наш «клуб»—комнату в предварилке, где приходящие к заключенным ожидали вызова на свидание и приема передачи, чтобы от них забрать известия и им передать. Через волю же сговаривался Ильич о внутри-тюремной переписке, указывал, где именно на прогулке следовало искать его корреспонденту закатанную в хлебный мякиш и прилепленную записку. Прогулка происходила тогда в так называемых «стойлах» или «вагонах», т. е. на дворе было воздвигнуто сооружение в форме звезды из досок выше человеческого роста, и в каждый угол, образуемый сходящимися у основания дощатыми стенками, впускался заключенный. Для надзирателя углы эти были открыты и он мог, прогуливаясь вокруг звезды, следить, чтобы заключенные не вступали в общение друг с другом. Так вот, подробное указание, в которой из клеток, между какими по счету досками и в каком конце следовало искать почту, устанавливало место ее и на дальнейшее время. Кроме того, брат переписывался с товарищами точками в книгах местной библиотеки, и тогда надо передать через родных совет взять такую-то книгу. М. А. Сильвин рассказывает, что более года спустя, получая книги из тюремной библиотеки, обнаружил переписку точками и иной раз расшифровывал ее, установив однажды переписку Владимира Ильича с Кржижановским или Старковым. Переписка эта, говорит Михаил Александрович, была большею частью невинного содержания. Добавлю к этому, что Владимир Ильич вел переписку, главным образом, с целью ободрить товарищей и особенно часто писал и высказывал и мне заботу о тех, кто, по его сведениям, нервничал и чувствовал себя плохо. Очень внимательно расспрашивал меня о их здоровье, о том, не нуждаются ли они в чем-нибудь.

Но хотя, как видно из всего изложенного, день Ильича и без того был занят,—кроме книг, необходимых для его работы, ему переправлялись все вновь выходящие, в том числе все ежемесячные журналы; разрабатывались и еженедельники, из которых можно было черпать сведения о политических событиях; выписывала я для него какой-то немецкий еженедельник, кажется „Archiv für Sociale Gesetzgebung und Statistic“,—он не мог

¹⁾ В. Гольдман (псевдоним—Горев), позднее меньшевик, теперь сочувствует большевикам.



Семья Ульяновых, * (1881—1882 гг.).

Стоят: Ольга Ильинична, Александр Ильич, Анна Ильинична.
Сидят: мать В. И. Мария Александровна, Мария Ильинична,
отец Илья Николаевич, Владимир Ильич, в середине Дмитрий Ильич.

удовлетвориться этим, не мог оставить вне поля своего зрения нелегальную работу. И вот Ильич стал писать, кроме того, нелегальные вещи и нашел способ передавать их на волю. Это, пожалуй, самые интересные странички из его тюремной жизни. В письмах с воли ему сообщали о выходящих листках и других подпольных изданиях; выражались сожаления, что листки не могут быть написаны им, и ему самому хотелось писать их. Конечно, никаких химических реактивов в тюрьме получить было нельзя. Но Владимир Ильич вспомнил, как рассказывал мне одну детскую игру, показанную матерью: писать молоком, чтобы проявлять потом на свечке или лампе. Молоко он получал в тюрьме ежедневно. И вот он стал делать миниатюрные чернильницы из хлебного мякиша и, налив в них несколько капель молока, писать им меж строк жертвуемой для этого книги. Владимиру Ильичу посылались специально беллетристика, которую не жаль было бы рвать для этой цели, а, кроме того, мы утилизировали для этих писем страницы объявлений, приложенных к номерам журналов. Таким образом, шифрованные письма точками были заменены этим, более скорым, способом. В письме точками Ильич сообщал, что на такой-то странице имеется химическое письмо, которое надо прогреть на лампе.

Вследствие трудности прогревания в тюрьме, этим способом пользовался больше он, чем мы. Надежда Константиновна указывает, впрочем, что можно было проявлять письма опусканием в горячий чай, и что таким образом они переписывались молоком или лимоном, когда сидели (с осени 1896 года) одновременно в предварилке.

Вообще, Ильич, всегда стремившийся к уточнению своей работы, к экономии сил, ввел особый значок, определявший страницу шифрованного письма, чтобы не рыться и не разыскивать его в книгах. Первое время надо было искать этот значок на стр. 7. Это был тоненький карандашный штрих, и перемножение числа строк с числом букв на последней строке, где он находился, давало страницу: так, если была отмечена 7-я буква 7-й строки, мы раскрывали 49-ю страницу, с которой и начиналось письмо. Таким образом, легко было и мне, и Владимиру Ильичу в полученной, иногда солидных размеров, стопке книг отыскать быстро ту, в которой было письмо, и страницу письма. Этот способ обозначения, — страницы время от времени менялись, — сохранялся у нас постоянно, и еще в последних перед революцией письмах, написанных по большей части рукой Надежды Константиновны, в 1915 и 1916 годах, я определяла по этому условному значку местонахождение письма в книге.

Владимир Ильич мастерил намеренно чернильницы крохотного размера: их легко было проглотить при каждом щелчке форточки, при каждом подозрительном шорохе у волчка. И первое время, когда он не освоился еще хорошо с условиями предварилки, а тюремная администрация не освоилась с ним, как с очень уравновешенным, серьезно занимающимся заключенным, ему нередко приходилось прибегать к этой мере. Он рассказывал, смеясь, как один день ему так не повезло, что пришлось проглотить целых шесть чернильниц.

Помню, что Ильич в те годы, и перед тюрьмой и после нее, любил говорить: «нет такой хитрости, которой нельзя было бы перехитрить». И в тюрьме он, со свойственной ему находчивостью, упражнялся в этом. Он писал из тюрьмы листовку, написал брошюру «О стачках», которая была забрана при аресте лахтинской типографии (ее проявляла и пере-

писывала Надежда Константиновна). Затем написал программу партии и довольно подробную «объяснительную записку» к ней, которую переписывал частью я, после ареста Надежды Константиновны. Программа эта тоже не увидела света: она была передана мною по окончании А. Н. Потресову и после ареста его была уничтожена кем-то, кому он отдал ее на хранение¹⁾. Кроме работы, ко мне по наследству от нее перешло конспиративное хранилище нелегальщины,—маленький круглый столик, который, по мысли Ильича, был устроен ему одним товарищем-столяром. Нижняя точеная пуговка несколько более, чем обычно, толстой единственной ножки стола отвинчивалась, и в выдолбленное углубление можно было вложить порядочный сверток. Туда в ночи запрятывала я переписанную часть работы, а подлинник—прогретые на лампе странички—тщательно уничтожала. Столик этот оказал немаловажные услуги: на обысках, как у Владимира Ильича, так и у Надежды Константиновны, он не был открыт; переписанная последняя часть программы уцелела и была передана мне вместе со столиком матерью Надежды Константиновны. Вид его не внушал подозрений, и только позднее, после частого отвертывания пуговки, деревянные нарезки стерлись, и она стала отставать.

Сначала В. И. тщательно уничтожил черновики листовок и других нелегальных сочинений после переписки их молоком, а затем, пользуясь репутацией научно работающего человека, стал оставлять их в листках статистических и иных выписок, наняв его бисерным почерком. Да такую, например, вещь, как подробную «объяснительную записку» к программе, и нельзя было бы уничтожить в черновом виде: в один день ее нельзя было переписать, и потом Ильич, обдумывая ее, вносил постоянно исправления и дополнения. И вот раз на свидании он рассказывал мне со свойственным ему юмором, как на очередном обыске в его камере жандармский офицер, перелистав немного изрядную кучу сложенных в углу книг, таблиц и выписок,—отделался шуткой: «слишком жарко сегодня, чтобы статистикой заниматься». Брат говорил мне тогда, что он особенно и не беспокоился: «не найти бы в такой куче», а потом добавил с хохотом: «я в лучшем положении, чем другие граждане Российской империи,—меня взять не могут». Он-то смеялся, но я, конечно, беспокоилась, просила его быть осторожнее и указывала, что если взять его не могут, то наказание, конечно, сильно увеличат, если он попадется,—что могут и каторгу дать за такую дерзость, как писание нелегальных вещей в тюрьме.

И поэтому я всегда с тревогой ждала возвращения от него книги с химическим посланием. С особенной нервностью ожидалась я возвращения одной книги,—помнится, с «объяснительной запиской» к программе,—которая, я знала, вся сплошь была исписана между строк молоком. Я боялась, чтобы при осмотре ее тюремной администрацией не обнаружилось чего-нибудь подозрительного, чтобы при долгой задержке буквы не выступили,—как бывало иногда, если консистенция молока была слишком густа,—самостоятельно. И как нарочно, в срок книги мне не были выданы. Все остальные родственники заключенных получили в четверг книги, сданные в тот же день, а мне надзиратель сказал коротко: «вам нет», в то время, как на свидании, с которого я только что вышла,

¹⁾ А. Н. Потресов сообщил, что программа была передана им двоюродному брату, а тот отдал в другое место, где в панике ее уничтожили. Впоследствии программа эта найдена в гектографированном списке в женековском партийном архиве. Вопрос о том, кем и в какое время она была перепечатана, остается пока открытым.

брат заявил, что вернул книги. Эта, не бывавшая дотоле, задержка заставила меня предположить, что Ильич попался; особенно мрачной показалась и всегда мрачная физиономия надзирателя, выдававшего книги. Конечно, настаивать было нельзя, и я провела мучительные сутки до следующего дня, когда книги, в их числе книга с программой, были вручены мне.

Бывало, что и брат бил тревогу задаром. Зимой 1896 года, после каких-то арестов (чуть-ли не после ареста Потресова) я запоздала случайно на свидание, пришла к последней смене, чего обычно не делала. Владимир Ильич решил, что я арестована, и уничтожил какой-то подготовленный им черновик.

Но подобные явления бывали лишь изредка, по таким исключительным поводам, как новые аресты; вообще же Ильич был поразительно ровен, выдержан и весел на свиданиях и своим заразительным смехом разгонял наше беспокойство. Сообщение о том, что дело кончается, он встретил возгласом: «Рано! Не успею всех материалов собрать». Характерно для кипучей энергии брата, а, пожалуй, и для того, что за стенами тюрьмы он не представлял себе вполне ясно условий хлопот и беготни на воле, что как-то на свидании он сказал мне: «Что ж ты, собственно, делаешь здесь, в Петербурге?».—Мне оставалось лишь руками развести: хождение по «мытарствам», беготня по поручениям, разъезды по конкам для свидания с людьми, шифровка, переписка химических писем—дела было больше чем по горло.

Все мы—родственники заключенных—не знали, какого приговора ждать. По сравнению с народовольцами соц.-демократов наказывали довольно легко («маленькая кучка,—говорил тогдашний директор департамента полиции Зволянский,—да когда-то что будет—лет через 50»). Но последним питерским инцидентом было дело М. И. Бруснева, которое кончилось сурово: 3 года одиночки и 10 лет ссылки в Восточную Сибирь,—так гласил приговор главе дела.

Мы очень боялись долгого тюремного сиденья, которого не внесли бы многие, которое во всяком случае сильно подорвало бы здоровье брата. Уже и так к году Запорожец заболел сильным нервным расстройством, оказавшимся затем неизлечимой душевной болезнью; Ванев худел и кашлял (умер в ссылке через год после освобождения); Кржижановский и остальные тоже более или менее нервничали.

Поэтому приговор к ссылке на 3 года в Восточную Сибирь (одному Запорожцу дано было 5 лет, он считался жандармами самым серьезным, вследствие того, что его рукой было переписано несколько статей для предполагавшейся нелегальной газеты «Рабочее Дело») был встречен всеми прямо-таки с облегчением. Помню, как я успокаивала тем, что три года—срок недолгий, что физическое здоровье брата поправится в хорошем климате Минусинского уезда, а также и тем, что к нему поедет на верное по окончании дела Надежда Константиновна (тогда видно уже было, к чему шло дело), и он будет не один.

Назначение Владимиру Ильичу Минусинского уезда произошло вследствие прошения о том матери, в департамент полиции, так же, как и разрешение ехать на свой счет. Ко дню его освобождения мы занимали с матерью комнату на Сергиевской, кажется, № 15. Помню, как в тот же день к В. И. прибежала и распеловала его, смеясь и плача одновременно, А. А. Якубова. И очень ясно запомнилось выразительное просиявшее, бледное и худое лицо его, когда он в первый раз забрался на империал конки и кивнул мне оттуда головой.

Он мог раз'езжать в конке по питерским улицам, мог повидаться с товарищами, потому что всем освобожденным «декабристам» разрешено было пробыть до отправки три дня в Петербурге, в семьях. Этой небывалой льготы добилась сначала для своего сына мать Ю. О. Цедербаума (Мартова) через какое-то знакомство со Зволянским; а затем, раз предедент создан, глава полиции не считал возможным отказывать другим. В результате все повидались, снялись группой (известный снимок), устроили два вечерних, долго затянувшихся, собрания,—первое у Радченко, Степана Ивановича, и второе—у Цедербаума. Говорили, что полиция спохватилась уже после времени, что дала маху, пустив гулять по Питеру этих социал-демократов, что совсем не такой мирный они народ; рассказывали также, что Зволянскому был нагоняй за это. Как бы то ни было, после этого случая таких льгот «скопом» уже не давалось; если и оставались иногда до высылки, то или люди заведомо больные, или по особой уже протекции.

Собрания были встречами «старых» и «молодых». Велись дебаты о тактике. Особенно таким, чисто политическим собранием было первое—у Радченко. Второе—у Цедербаума—было более нервное и сутолочное. На первом собрании разгорелась дискуссия между «декабристами» и позднейшими сторонниками «Рабочей Мысли»: спорил Ильич, которого поддеживали все старики, с Якубовой. Последняя очень разволновалась: слезы выступили у нее на глазах. И тягостно было ей, видимо, спорить с Ильичем, которого она так ценила, выходу которого так радовалась, и мнения своего не могла не отстаивать. Оно клонилось к тому, что газета должна быть подлинно рабочей, ими составляться, их мысли выражать; она радовалась пробуждающейся инициативе рабочих, массовому характеру ее. Ильич указывал на опасность экономизма, который он предвидел раньше других. Спор вылился в поединок между двумя. Мне было жаль Якубову; я знала, как беззаветно предана она революции, с какой трогательной заботливостью относилась лично к брату за время заключения, и мне казалось, что брат преувеличивает опасность уклона молодых. Очень тягостно повлиял спор—«разногласия тотчас после освобождения»—на Запорожца, тогда уже больного.

На третий день мы все трое уехали в Москву. Не помню уже, было на этот счет дополнительное напоминание со стороны «начальства», или мы сами сочли благоразумнее не откладывать от'езда. Помню только, что в эти дни мне приходилось бегать в департамент полиции и брать отсрочки со дня на день и для себя лично, потому что получила уведомление, что лица, бывшие под гласным надзором, не имеют права, впредь до особого разрешения, проживать в столицах. Это было уже толкование в применение к случаю, потому что существовавшее дотоле постановление гласило: «Лица, бывшие под гласным надзором, не имеют права в'езда в столицы в течение года после окончания его». Мой гласный надзор по делу 1 марта 1887 года окончился в 1892 году, и через год, с 1893 г., я переехала в Москву; да и в Питере жила во время сиденья брата с перерывами целый год, а тут вдруг—очевидно, в связи с делом брата и моими личными знакомствами в Питере и Москве—спохватились.

Владимиру Ильичу было разрешено провести три дня и в Москве, в семье. Повидавшись с товарищами, он решил было заарестоваться в Москве и ехать дальше с ними вместе. Тогда была только что окончена магистраль до Красноярска, и этап представлялся уже не таким тягостным, как раньше: только две тюрьмы,—в Москве и Красноярске. Владимиру Ильичу не хотелось пользоваться льготой по сравнению с то-

варищами. Помню, что это очень огорчило мать, для которой разрешение Володе ехать на свой счет было самым большим утешением. Питерские знакомые очень настаивали на необходимости этого, чтобы сберечь его недоужинные силы. А. М. Калмыкова предлагала даже средства для этого. Мать отказалась от помощи, передав через меня А. М. Калмыковой, что пусть те деньги пойдут на более нуждающегося, например, Кржижановского, а она сможет отправить Владимира Ильича на свои средства.

И вот, после того, как матери доказывали, насколько важно добиться поездки на свой счет, после того, как ей передавали слова кого-то из старых ссыльных: «ссылку мог бы повторить, этап—никогда», В. И. решает отказаться от полученной с трудом льготы и добровольно пойти опять в тюрьму. Но дело обошлось: «декабристы», заарестованные в Питере, не прибыли еще к окончанию трех льготных дней в Москву, а между тем засуетившаяся московская охранка поставила вызванного к себе Владимира Ильича перед ультиматумом: или получения проходного свидетельства на завтра, или немедленного заарестования. Перспектива идти в тюрьму тотчас же, даже не простившись с домашними, и ждать там неопределенное время приезда «своих»,—эта конкретная русская действительность, да еще в ее менее причисанной, чем в Питере, в ее московской форме, в этом отпечатке «вотчины» великого князя Сергея, навалилась на него, на его стремление идти вместе с товарищами. Естественный протест здорового ума против такой бесплодной растраты сил для того, чтобы не отличаться от товарищей, всегда присущее ему сознание необходимости беречь силы для действительной борьбы, а не для проявления рыцарских чувств, одержало верх, и Ильич решил выехать на следующий день. Мы четверо: мать, сестра Мария Ильинична и я с мужем, Марком Тимофеевичем, поехали проводить его до Тулы.

Ильич уехал с обещанием писать, и он выполнил это обещание. За все три года его ссылки у нас была наиболее обстоятельная, наиболее регулярная переписка с ним. Но это не входит уже в рамки статьи.

П. Лепешинский

Первый революционный опыт. Тюрьма и ссылка.

Осенью 1895 года он возвращается в Петербург и принимается со всем пылом своего революционного темперамента за непосредственную работу над «стихийной» движением в среде петербургского пролетариата. Он уже и раньше начинал этот интереснейший опыт, вступив в 1894 году в рабочий «кружок в гавани». Но осенью 1895 года, вместе с подобранными им «сподручными» (главным образом из кружка технологов-марксистов),—на протяжении каких-нибудь двух месяцев он успевает так широко поставить опыт социал-демократической работы в массах, что в результате этого коротенького опыта в Петербурге впервые (если не считать Халтуринского «Северно-русского рабочего союза») создается классово-пролетарская рабочая организация, которая вскоре приобретает громкую известность под именем «Петербургского Союза борьбы за освобождение рабочего класса». И когда впоследствии Владимир Ильич начнет громить «экономизм», когда начнет страстно нападать на кустарничество, на кро-

хоборство практиков позднейшей формации, когда будет резко ставить вопрос о внедрении «сознательности» в стихию рабочего движения, не следует забывать, что он в этом случае будет исходить не только из правильно понятых им основ теоретического марксизма, но и из практики своего петербургского опыта социал-демократической работы в обстановке пробуждения пролетарских масс и начавшегося «стачечного азарта». Конкретные факты действительности, то, что видели его глаза и слышали его уши, и в данном случае, как и всегда, определили содержание его диалектической мысли.

В ночь с 8-го на 9-е декабря (по ст. ст.) 1895 г., в момент широко задуманной жандармами ликвидации первой петербургской с.-д. организации, Владимир Ильич тоже изымается из обращения и попадает в «предварилку». Последующие 14 месяцев сидения в каменном мешке, без солнца и воздуха, без людского общества... Но нет, из этих жалких слов, из этих унылых черных красок решительно ничего не выйдет; из них не составишь подходящих рамок для изображения Ильича в тюремный период его жизни. Представьте себе человека, в психике которого так много солнечных мотивов, что он почти не замечает, заглядывает ли или не заглядывает солнце в его камеру, а умственные горизонты так обширны, что для него как бы не существует стен тюремной клетки, ограничивающей мир его ощущений, и жизнерадостное чувство безудержного умственного творчества так безмерно, что он в обществе своих «играющих» мыслей чувствует себя великолепнее, чем в обществе людей,—и вы поймете, какими фальшивыми нотами звучала бы всякая претензия изобразить Ильича мучеником в плену у царской жандармерии.

Владимир Ильич обложился в тюрьме грудой статистических сборников и с веселой улыбкой посылал спасибо «российским условиям жизни», которые поставили его в столь прекрасную обстановку для работы над задуманным им широким положением на тему «Развитие капитализма в России». За время сидения в доме предварительного заключения Владимир Ильич успел почти до конца написать капитальнейший свой труд (впоследствии приведенный в полный порядок во время минусинской ссылки и вышедший в свет в 1899 г.). Огромное значение этой классической работы Ильича, не только доказавшей на цифрах тщету народнических надежд на самобытные пути развития «общинного» востока Европы—в стороне от мировых капиталистических процессов (в стране, которая давно уже вступила на путь капитализма), но и давшего марксистский глубокий анализ форм развития капитализма как в центрах промышленной жизни России, так и в недрах крестьянского хозяйства,—это огромное значение общеизвестно.

Кроме того, сидя в тюрьме, Ильич умудрился посылать на волю прокламации и даже целые брошюры («О стачках» и «Проект программы русских с.-д.»¹).

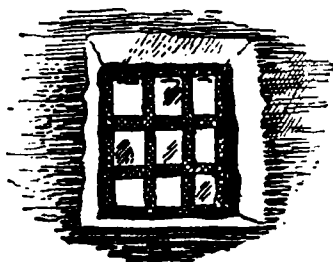
В феврале 1897 года Владимир Ильич был отправлен в ссылку на 3 года. Он получил право самостоятельного проезда на место назначения по проходному свидетельству, и это обстоятельство дало ему возможность по дороге повидать родных и ряд друзей и товарищей. При проезде, например, через Красноярск этапной партии с «петербуржцами» (Кряжля-

¹ Этот проект, великолепный образец строго-марксистской мысли Вл. Ильича, мог он через два года после написания его лечь в основу программы партии на I съезде. Но он как-то затерялся, хотя и был размножен на тектографе. Сейчас Институт имеет его в своем архиве.

новским, Мартовым, Старковым и др.) «свободный» Ильич стоял на перроне (вместе с сестрой Кржижановского) и бросился к решеткам вагона. Пока всполошившиеся жандармы успели принять меры к прекращению неожиданного для них «безобразия», Ильич успел перемолвиться несколькими словами с друзьями.

В Сибири он был прикреплен к с. Шупинскому, Минусинского уезда, где и прожил 3 года ссылки. В это время Енисейская губерния обогатилась новым элементом политической ссылки—социал-демократами. В одном только Минусинском уезде оказалось 17 социал-демократов, подписавшихся под «Протестом» против „Credo“ Кусковой (в 1899 г.), при чем текст протеста был выработан и проведен на собраниях с.-д. в с. Ермаковском, Минусинского уезда. Вообще время от времени минусинские товарищи, тесно сплотившиеся вокруг Ильича, собирались в каком-нибудь месте (чаще всего в Минусинске, но нередко и в Шупинском) и устраивали себе праздник: обменивались мыслями, делились полученными новостями из «мира живых» (из центров с.-д. и рабочего движения в России или за границей), а не то просто по-своему «наслаждались» жизнью: охотились за дичью, катались зимою на коньках, пели любимые революционные песни и охотнее всего—играли в шахматы. И во всех видах спорта (особенно же в игре в шахматы) Ильич всегда первенствовал.

Но «праздники» были все же редким явлением, что же касается долгих будней, то один только Владимир Ильич умел их использовать так же продуктивно, как он использовал свое время и в тюрьме. Он писал,—много писал. За это время им были написаны и отправлены за границу для напечатания брошюры «О законе 2-го июня» и «Задачи русских социал-демократов» (в 1897 г.). Особенно большое значение имела эта последняя. Блестяще написанная, она, по словам самого Владимира Ильича, отображала итоги работы с.-д. в Петербурге в 1895 г. и излагала основные взгляды автора на задачи с.-д. не в полемической, а в положительной форме. Она представляет первое звено непрерывной цепи «ленинизма» за период с момента написания брошюры до бурь 1905 г. («Задачи русских с.-д.», «Что делать», «Вперед» и «Пролетарий»). По крайней мере, так расценивает ее сам автор (см. его предисловие к III изд. статьи), указывая при этом на то, что сопоставление этих литературных моментов доказывает связь в развитии социал-демократических взглядов с развитием революционного движения в России. Но значение ее, как нам кажется, гораздо больше, чем простой отзвук на современный ей момент в развитии рабочего движения. Это воистину программная статья, определяющая на много лет вперед практическую работу социал-демократии и ее политическую программу в связи с постановкой вопросов (для многих с.-д. в то время очень сложных и темных) о пропаганде и агитации, об отношении промышленного пролетариата городов и социал-демократии к другим слоям угнетенных масс.



VI

ЭМИГРАЦИЯ. „ИСКРА“





П. Лепешинский

Любимое детище Ильича (старая „Искра“)



Время окончания ссылки В. И. и его товарищей по делу приходилось на 29 января 1900 г. Ильич так горел нетерпением поскорее вернуться к революционному делу, что не потратил ни одного лишнего часа на пребывание в насыщенном месте и быстрехонько махнул в Россию. В. И. оставляет жену свою Надежду Константиновну (с которой он повенчался в ссылке) в Уфе, где ей пришлось высидеть еще целый год положенного ей срока ссылки, а сам едет в Псков, чтобы быть поближе к Питеру, куда въезд ему был запрещен. Теперь он весь полон мысли о создании с.-д. органа. Попытка возобновить издание «Рабочей газеты» (эта последняя была объявлена на 1-м съезде партии центральным органом, и В. И. предполагался даже в качестве ее редактора)—под редакцией В. И., Мартова и Потресова—оказалась неудачной. И вот, на псковском совещании у Оболенского (где присутствовали, между прочим, кроме В. И., Мартов, Потресов, Радченко, Струве) было решено перенести центр тяжести в издательской работе за границу. Но прежде чем уехать за границу, Ильичу пришлось отбыть трехнедельный арест в Петербурге за «незаконный» проезд в это запрещенное для него место. Наконец, в середине июля В. И. по легальному паспорту уезжает из России в Женеву, где сговаривается с «Группой Освобождения Труда» об издании «Искры».

Потресов, несколько раньше Ильича уехавший за границу, уже подготовил все предпосылки для задуманного издания газеты,—была оборудована конспиративная типография в Мюнхене, и сам В. И. в конце 1900 г. тоже переселяется в Мюнхен, чтобы непосредственно руководить изданием «Искры». Достойно внимания то обстоятельство, что, вступив в соглашение с «Группой Освобождения Труда» по части издания газеты, В. И. сохранил за собою право быть независимым от «Группы Освобождения Труда» в организационном отношении, и даже его Мюнхенское отделение от Женевы¹⁾ было отчасти подсказано соображениями относительно большей независимости его литературного детища от традиций женевской эмигрантской социал-демократии. В Мюнхене же осели и приглашенные Ильичем для совместной работы Потресов с подехавшим несколько позднее Мартовым. Когда же еще позднее (весною 1901 г.) в Мюнхен приехала отбывшая ссылку Н. К. Крупская, сейчас же взяв-

¹⁾ Впоследствии (в 1902 г.) искровская типография и редакция (Ленин, Крупская, Мартов, Засулич) переехали в Лондон—опять-таки к большому неудовольствию Плеханова, желавшему, чтобы редакция „Искры“ обосновалась в Женеве.

шая на себя обязанности секретаря редакции «Искры», основное ядро искровской организации все было налицо.

Чтобы оценить значение и роль деятельности В. И. в период старой «Искры», следует прежде всего заметить, что настоящим хозяином «Искры» и создавшейся вокруг нее организации был именно ее инициатор и ее фактический руководитель—В. И. Из редакционной шестерки наиболее деятельное участие в «Искре», кроме В. И., принимали Мартов и Плеханов. Но первый из этих двух ни в каком случае не мог претендовать на какую-нибудь самостоятельность в определении политической физиономии газеты и был хорошим, неутомимым литературным работником лишь при условии обидительного контроля над ним Ленинского глаза. Что же касается Плеханова, то, несмотря на весь его ум, блестящий литературный талант и марксистскую выучку, он, будучи оторван уже два десятка лет от России, неясно, так сказать, чувствовал российскую действительность последнего времени и поневоле должен был опираться на Ленина, который был теоретически не менее вооружен, чем он сам, но политическая мысль которого была диалектически насыщена конкретными фактами современного партийного и рабочего движения, конкретными задачами и лозунгами текущего момента, словом—конкретною начинкою из реальных элементов русской общественной жизни.

Какую же роль сыграла Ильичовская «Искра» в судьбах нашей партии? Попытаемся ответить на этот вопрос простым перечнем того, что она успела сделать:

1. Она успела поставить в центре внимания рабочих и демократии—в качестве ближайшей насущной задачи—борьбу с самодержавием. В своих обличительных статьях она приковала русский царизм к позорному столбу.

2. Она повела энергичную борьбу с реакционными утопиями нового народничества и авантюристическими его замашками. Главную тяжесть в полемике с эс-эрами взял на себя Ленин.

3. Не менее энергично она выступила против внутривластного оппортунизма, кустарничества, рабочемысленского и рабочедельского «экономизма», бундовничества сепаратизма и национализма. В борьбе с Бундом Ленин разделил труд с Мартовым, а расправу с оппортунистами из «Рабочей Мысли», «Рабочего Дела», «Свободы» и т. д.—взял на себя главным образом автор брошюры «Что делать?», т. е. он сам.

4. «Искра» резко поставила и последовательно развила одну из основных проблем брошюры «Задачи русских социал-демократов», а именно проблему о поддержке пролетариатом в борьбе с самодержавием всех политически-оппозиционных элементов, но при условии разъяснения рабочим временного и условного характера этого союза, а также сохранения классовой обособленности пролетариата. Кто, в каких случаях и в какой мере может явиться и является попутчиком пролетариата, об этом «Искра» много говорит в связи с конкретными фактами роста оппозиционных настроений, выразившихся в подъемной волне студенческого движения, в недовольстве земцев, а самое главное—в крестьянских бунтах, охвативших в 1892 г. юг России. Главным искровским выразителем взглядов на оппозицию является все тот же Ленин (см. его «Что делать?», «Гонители земства и Аннибалы либерализма» и т. д.).

5. «Искра» ставит ряд вопросов о партийном строительстве,—о постановке «общерусской газеты» с организационными надстройками вокруг нее (см. об этом ст. Ленина «С чего начать?», «Что делать?»). Она

создает, развивает и проводит, с помощью искровских агентов, организационный план (Ленинское «Письмо к товарищу о наших организационных задачах», огромная переписка самого В. И. и Надежды Константиновны с местными работниками и т. д.). Искровская организация создает, в конце концов, действенный организационный комитет по сплочению партии и созыву 2-го съезда.

6. «Искра» внимательно следит за фактами рабочего движения и поддерживает со всей своей энергией каждое революционное выступление рабочей улицы (вроде ростовской стачки в 1902 г., майских демонстраций, южно-русских всеобщих забастовок в 1903 г. и т. д.).

7. «Искра» и «Заря» возносят на высоту глубокого философско-теоретического анализа критику ревизионизма (главным образом Плеханов).

8. «Искра» и «Заря» вырабатывают проект социал-демократической программы и защищают его от нападков со стороны всякого рода благожелательных и неблагожелательных критиков (эту функцию делят между собой Плеханов и Ленин). В частности, автором аграрной части программы и истолкователем ее является по преимуществу Ленин («Рабочая партия и крестьянство» и ряд других его статей в «Искре», помещенная в «Заре» ст. «Аграрная программа русск. с.-д.»; популярная брошюра для крестьян «К деревенской бедноте» и т. д.).

Можно было бы еще долго продолжать такого рода перечисление искровских «вкладов» в партийную сокровищницу, но и сказанного уже достаточно для того, чтобы судить о значении старой «Искры» для партии. Она подводит прочный фундамент под всю дальнейшую партийную постройку, и то, что мы называем большевизмом (т.-е. ленинизмом, воплощенным в дело организации пролетарской классовой борьбы), представляет собою не что иное, как дальнейшее развитие во времени и пространстве основных моментов старого «искровства».

В период времени с 1900 по 1903 г. включительно В. И. быстро шагает в гору в смысле осуществления своих задач. Он чувствует, как «стихия», несмотря на весь ее консерватизм и упорную инерцию, с каждым днем, с каждым часом все более и более поддается напору его «сознания». Вот-вот еще одно усилие, еще один толчок—и давно взлелеянная им мечта (а еще в своем великодушном, темпераментом «Что делать?» он отстаивает право революционера «мечтать»),—наконец-то осуществится: партия будет собрана в один ударный кулак; под ее предводительством русский пролетариат двинется организованной массой на твердыни самодержавия, увлекая за собой на борьбу всех угнетенных, всех задыхающихся в атмосфере политического бесправия... И рухнет чудовище, и осиновый кол будет вбит в ту мусорную яму, куда ее величество—Революция свалит его смрадный труп. А там уж «поприще широко»: новая перестройка и перегруппировка революционных кадров, новая ситуация, новая борьба за достижение уже конечных целей пролетарской революции... И все это так прекрасно, так бодрит революционный дух, так неудержимо тянет навстречу бурь, что у великого мятежника нашего века взор загорается гневом, когда из социал-демократического ботота раздастся кваканье партийных лягушек: «не преувеличивайте значения сознательности!.. Не преуменьшайте стихийности... ква-ква-ква... тише вперед на поворотах»...

А он, «неистовый Виссарий» нашей революционной эпохи, продолжает «ломать» вперед и вперед... И вслед за ним, едва переводя дух, стараются не отстать его ближайшиe соратники по «Искре», зачарованные сиянием его революционной звезды... О, скоро они отстанут от «не-

утомленного» и всячески будут поносить его, издеваться над ним, конфузиться своих собственных недавних революционных увлечений, лить покатные слезы над своим греховным прошлым и всячески оплевывать старую «Искру», введшую их в соблазн... А пока что они еще держатся за фалды и осуществляют его идею «увенчания» организационных усилий «Искры» по части сплочения партии в одно монолитное целое: они сообща делают великую ставку на съезд партии.

Тахтарев

Ленин в Лондоне

В конце зимы 1902 года переехал в Лондон и Владимир Ильич вместе с Надеждой Константиновной, которая была близкой подругой Аполлины Александровны. Они приехали прямо к нам и просили нас помочь им устроиться в Лондоне. Я нашел для них для первых дней меблированную комнату на одной из ближайших к нашему дому улиц, а через короткое время—более удобное помещение в небольшом доме на Hol fort Square, тоже поблизости от того места, где мы жили. Место это находилось в центральном Лондоне, но было тихое. Дом, в котором поселились Владимир Ильич и Надежда Константиновна, находился недалеко от станции центральных железных дорог, в двадцати минутах ходьбы от Британского Музея. Он расположен был в маленьком скверике, и в ясные дни комната, в которой работал Владимир Ильич, была залита солнцем. Владимир Ильич поселился в Лондоне под фамилией Рихтера, которую англичане, произносившие ее не по-немецки, а по своему, переименовали в фамилию Ритчера.

В это время мы виделись с Владимиром Ильичем постоянно. То он заходил к нам, обыкновенно с Надеждой Константиновной, то мы шли к ним. Мы помогли им устроиться. Я достал для Владимира Ильича рекомендацию, необходимую для работы в библиотеке Британского Музея, куда он и начал ходить заниматься. Впрочем, по большей части он работал дома. В первое время ему доставил немало хлопот перепос издания «Искры» из Мюнхена в Лондон. Надо было найти, где печатать газету. Так как это надо было устроить по возможности конспиративно, то требовалась помощь английских социалистов. С ними у меня были некоторые связи, в особенности с «Независимую рабочую партию», членом которой я был. Но Владимир Ильич не хотел иметь дела с этой организацией, так как она не была марксистской, хотя она и пользовалась среди английских рабочих наибольшим влиянием из всех существовавших в Англии социалистических организаций. Владимир Ильич предпочел обратиться за содействием к английской «Социал-демократической Федерации», во главе которой стояли марксисты Гайндман и Квелч. По просьбе Владимира Ильича я пошел вместе с ним в типографию, в которой печатался «Социал-демократ», орган английской социал-демократической Федерации. Мы выбрали день, в который можно было удобнее переговорить с Квелчем, часто бывавшим в типографии. Владимир Ильич затруднялся объясняться по-английски, а Квелч не обладал достаточным знанием немецкого языка, и Владимир Ильич обратился ко мне, чтобы я помог ему в качестве переводчика. Впоследствии Владимиру Ильичу очень помог мой знакомый, т. Ротштейн, который был в это время членом

редакции и, насколько помню, также членом Исполнительного Комитета «Социал-демократической Федерации».

Устроив печатание «Искры» в Лондоне, Владимир Ильич начал думать об усовершенствовании способов ее доставки и распространения в России. Он додумался до мысли о перевозке в Россию особых матриц с каждого номера «Искры» для того, чтобы почти одновременно она могла повторным образом издаваться и в России. Он советовался и со мной по этому поводу, и мы вместе придумывали удобную для перевозки форму матриц, для изготовления которых надо было найти подходящих лиц. Подходящие лица нашлись. Предполагалось, что в России перепечатывать выходящие в Лондоне номера «Искры» с их матриц будет типография, находящаяся на Кавказе. Таким образом, распространение «Искры» в России, конечно, могло быть очень облегчено и усилено. Но я не помню и не знаю, была ли осуществлена эта идея Владимира Ильича.

Перенос издания «Искры» в Лондон неизбежно повлек за собой переезд в Лондон некоторых из ее главнейших сотрудников и членов редакции. Одними из первых приехали А. Н. Потресов с Е. Н. Туликовой и Вера Ивановна Засулич. Потом Ю. О. Цедербаум (Л. Мартов) и Бронштейн (Л. Троцкий). Все они поселились по соседству с нами. Потом стали приезжать и другие товарищи.

В числе товарищей, приезжавших к Владимиру Ильичу в Лондон, был и близкий мне Иван Васильевич Бабушкин. По возвращении из ссылки он работал в Иванове-Вознесенске. Был арестован там и заключен в тюрьму. Из тюрьмы ему удалось бежать. Он переехал на юг и под чужим именем поступил на завод в Екатеринославе, где принял самое деятельное участие в местной социал-демократической организации. В Екатеринославе он тоже был арестован. Но ему удалось бежать из екатеринославской тюрьмы. За время своего прежнего пребывания в тюрьме он приобрел в этом отношении достаточный опыт. Из тюрьмы он бежал с помощью маленьких пилочек, которые он всегда носил с собой, запрятав их в салог. Этими пилками он перепилил железные прутья тюремной решетки екатеринославской тюрьмы и, разогнув их, открыл себе путь на свободу. Он рассказывал мне, что это было не легкое и не скорое дело. Пилить толстый железный прут с помощью маленькой тоненькой стальной пилки приходилось очень долго. Операция продолжалась несколько дней. Необходимо было перепилить несколько железных прутьев. Когда это было сделано совершенно незаметно для постороннего глаза, то оставалось лишь отогнуть прутья для того, чтобы было возможно высочить в окно. Это было делом момента. Правда, надо было уметь выбрать подходящее время и для бегства. Это Бабушкину вполне удалось, и в 1903 году он приехал в Лондон. Вспомнили мы с ним старое время, когда социал-демократическое движение только-что еще начиналось в России.

Как я уже упоминал, И. В. Бабушкин был самым деятельным членом моего первого рабочего кружка. Приехав в Лондон, он был поражен напряженностью и быстрым темпом английской общественной жизни. Но еще более был он поражен организованностью английского рабочего движения. Во время приезда И. В. Бабушкина, в Лондон как раз происходил в Лондоне конгресс английских тред-юнионов, и я предложил Бабушкину пойти вместе со мной посмотреть, как английские рабочие решают свои дела.

Бабушкин пробыл в Лондоне недолгое время. Он спешил ехать снова в Россию с поручениями, полученными от Владимира Ильича. За

время своего пребывания в Лондоне Иван Васильевич по нашей просьбе написал свои воспоминания о русском рабочем движении и о своем участии в нем. Эти воспоминания составили довольно сбемистую тетрадь, которую он мне прочел. Он передал ее перед отъездом Владимиру Ильичу.

Владимир Ильич жил в Лондоне довольно замкнуто, сторонясь русских политических эмигрантов, живших в Лондоне. Но он не мог отказаться в просьбе русских и еврейских рабочих, приехавших из России и живших в Восточном Лондоне, в так называемом Уайтчепеле, посетить место их постоянных собраний и публичных лекций, где постоянно возникали ожесточенные споры между социал-демократами, социалистами-революционерами и анархистами.

На одном из этих собраний против социалистов-революционеров в качестве оппонента выступил Троцкий и имел большой успех. Надо сказать, что его едкая речь, произнесенная против социалистов-революционеров на этом собрании, была действительно блестяща. На этом собрании Владимир Ильич не выступал. Но по просьбе уайтчепельских рабочих или, точнее сказать, по просьбе организовавшегося среди них рабочего кружка «искровцев», Владимир Ильич выступил на особом собрании и не как оппонент, а как докладчик.

Насколько помню, темой его лекции была аграрная программа. Эта лекция собрала много народа. Зал рабочего клуба, в котором происходила лекция Владимира Ильича, был переполнен сверх обыкновения. Кроме обычных посетителей клуба, тут были и известные русские эмигранты: Чайковский, Серебряков, Черкесов, Соскис и др. Благодаря страшному переполнению зала, атмосфера была ужасающая. Было жарко, как в бане. Владимир Ильич говорил более чем с огоньком. Он говорил с жаром, беспощадно критикуя программу социалистов-революционеров. При этом меня поразила его манера говорить. Он говорил совершенно не глядя на своих слушателей, как бы совершенно не обращая внимания на свою аудиторию. Я не заметил, чтобы в течение всей своей продолжительной лекции он хоть бы раз взглянул на лица своих слушателей. Его лекция длилась около двух часов, и он произнес свою речь залпом. Она имела громадный успех и произвела очень сильное впечатление на аудиторию своей убедительностью. Пораженный его манерой говорить не глядя на слушателей и устремив свой взгляд в какую-то точку, находившуюся где-то вверх в противоположном конце зала, по окончании лекции, когда мы возвращались с ним домой из Уайтчепеля, я не удержался, чтобы не спросить его, почему во время речи он не глядел на своих слушателей: «А для того,—ответил мне Владимир Ильич,—чтобы они выражением своих лиц не могли испортить моего настроения и сбить моих мыслей. Я всегда нарочно стараюсь не смотреть на свою аудиторию, чтобы она не помешала мне изложить должным образом мои мысли».

Только-что упомянутая лекция Владимира Ильича в Уайтчепеле была единственным публичным выступлением его в Лондоне. Как я сказал, он жил довольно обособленно, просиживал целые дни за своей работой дома или в Британском Музее. Лондонских развлечений ему не требовалось. Я не помню, чтобы он был хотя раз в каком-нибудь из многочисленных лондонских театров. Но на концертах он, кажется, все же бывал. Его любимым развлечением была беседа с близкими ему товарищами. Помню, что он зааживал иногда вместе со своими друзьями в одно кафе, где имелось хорошее немецкое пиво. Там за кружкой пива Владимир Ильич нередко вел самую оживленную беседу с друзьями по интересовавшим их вопросам.

Его лондонская жизнь была чисто трудовая. Жил он очень скромно, сперва вдвоем с Надеждой Константиновной, а потом, когда к Надежде Константиновне приехала ее мать, втроем. В это время он стал уходить в Британский Музей чаще.

Виделся я с Владимиром Ильичем во время его жизни в Лондоне довольно часто. Его приход всегда был интересен. Немедленно же начинался какой-нибудь разговор о происходящих событиях, о рабочем движении, о разных в нем направлениях. Так как наши взгляды как на заграничное, так и на русское движение были далеко не одинаковы и скорее очень различны, то нередко наш оживленный разговор превращался в спор.

Владимир Ильич был в высшей степени интересный и живой собеседник. Спорить с ним было не легко. Находчивость его мысли была чрезвычайная, а полемический талант в высшей степени занимателен. Правда, Владимир Ильич мне казался всегда слишком прямолинейным, иногда казался мне даже несколько односторонним. Но он был, как мне казалось, всегда прям и искренен, хотя я замечал в нем порой и некоторую долю лукавства и хитрости. Но это лукавство казалось мне вещью, имевшею мало значения, по сравнению с его искренностью и прямотой, за которые я его особенно любил. Он был хорошим товарищем. На слова его всегда можно было положиться вполне. Он обладал железною волей и ясным умом. Он любил идти прямо к цели, без зигзагов, беря с бою то, что нельзя было получить скорее иным путем. Он любил форсировать ход событий ради скорейшего достижения поставленных целей, к которым он стремился всегда неуклонно. Он казался мне человеком, который вступил в жизнь с раз навсегда поставленными целями. И жизнь его казалась мне прямолинейной, как-будто она шла по виточке, туго натянутой от места вступления его в жизнь до конечной его жизненной цели. Эта цель заключалась в руководстве революционным рабочим движением под знаменем марксизма. На своем пути, можно сказать, он имел лишь одного равного себе,—это был Георгий Валентинович Плеханов, у которого были даже некоторые преимущества перед Владимиром Ильичем, между прочим, в том отношении, что ранее выступил на поле революционной деятельности и был окружен особенным ореолом, как один из наиболее видных продолжателей дела Маркса и крупнейший русский теоретик марксизма.

Как выдающийся представитель марксизма и ортодоксальной социал-демократии, Плеханов в свое время, конечно, пользовался такой широкой известностью как в России, так и в широких кругах заграничных социалистов, что вполне естественно казалось, что никому другому, как ему и должно было принадлежать высшее руководство русским рабочим движением. Однако, по моему мнению, это руководство, поскольку в данном случае можно действительно говорить о руководстве в описываемое время, скорее принадлежало Владимиру Ильичу, чем Г. В. Плеханову. Дальнейшие события показали это достаточно наглядно и убедительно.

Первым из этих событий был второй съезд Российской социал-демократической партии. Почва для него была уже достаточно подготовлена. Борьба направлений, разделявших русскую социал-демократию, казалось, уже приближалась к концу. Революционно-марксистское направление «Искры» уже торжествовало повсюду, как в самой России, так и за границей, проникнув и в среду русско-европейских рабочих, живших в Лондоне. Среди них был кружок искровцев, с которым зани-

мался мой старый товарищ Н. А. Алексеев, о котором я уже упоминал, как об одном из членов первоначальной группы «Рабочей Мысли». В этот лондонский рабочий кружок искровцев входил и другой участник первоначальной группы «Рабочей Мысли», колпинский рабочий И. Михайлов. В описываемое время оба эти товарища были уже горячими искровцами. Рабочие, члены этого искровского кружка, через посредство Н. А. Алексеева, издавшегося с Владимиром Ильичем, обратились к нему с просьбой позаняться с ними по программным вопросам. Владимир Ильич, не смотря на то, что у него положительно не было свободного времени для этих занятий, для которых было необходимо ездить в Восточную часть Лондона, в Уайтчепель, все же не ответил отказом. Он как-то умел выкроить время и для занятий с этим рабочим кружком. Некоторые из членов кружка мечтали о возвращении в Россию с целью революционной деятельности (что впоследствии они действительно и осуществили), и Владимир Ильич начал ездить в Уайтчепель для кружковых занятий с рабочими. Он читал им свой проект программы Российской социал-демократической партии, раз'ясняя его пункт за пунктом и подвергая обсуждению членов кружка. Я тоже бывал на этих занятиях Владимира Ильича с рабочими и могу лишь повторить то, что уже говорил по поводу моего первого знакомства с Владимиром Ильичем и его деятельностью среди рабочих. Он мастерски раз'яснял все пункты программы как в ее общих основных положениях, так и в частностях. Порою он как бы нарочно стремился вызвать со стороны своих слушателей возможные возражения, которые после его раз'яснений казались совершенно несостоятельными. Речь его была в высшей степени убедительна и оказывала неотразимое влияние на рабочих.



VII
ВТОРОЙ СЪЕЗД Р. С. - Д. Р. П.





М. Лядов

С Ильичем до и после с'езда



В России мы были уверены, что главными руководителями «Искры» являются старики: Плеханов, Аксельрод, и Засулич. Про Ленина мало кто знал в России. Он редко подписывал свои статьи. Только близкие знали, что Тулин, Ильин и другие прозвища, под которыми он писал книги и статьи в легальных журналах, это и есть тот Ульянов, который жил в Енисейской губернии ссылкой, а также работал в редакции «Искры». Только в Берлине от тамошних товарищей я узнал про выдающуюся роль Ильича в нашей партии. Признаюсь, я ехал в Женеву с большим волнением. Как встретят меня, маленького местного работника, партийные вожди? Многое хотелось им рассказать про жизнь нашей организации, про нашу работу. Хотелось им указать на то, что так необходимо рабочему движению и что, по нашему мнению, недостаточно давала «Искра». Саратовские товарищи наказывали мне, что прежде всего надо убедить редакцию, чтобы меньше было полемики в «Искре». Многие серые рабочие, которые не понимают разницы между искровцами и другими революционерами, недовольны, что революционеры между собою ругаются.

Прежде всего в Женеве я увидел Засулич и Мартова. Имя Засулич для нас всех было известно. Мы знали ее по ее выстрелу в генерала Трепова в 70-х годах. Мартова я знал по письмам, которые мы получали в ссылке. Они оба много мне рассказали про заграничные дела. Оба жаловались на Ильича. Очень он любит над ними командовать, всех обижает, все делает по-своему. Долго мы говорили с ними. Но неудовлетворенный пошел я от них. Мелко плавают!—казалось мне. Разве с таким хныканьем можно быть вождями партии? Никак не мог понять, как это один Ленин может остальную редакцию обижать. Их пять, а он один. От них пошел я к Плеханову. Принял меня по-генеральски. Сразу дал почувствовать, какая большая разница между ним, мировой известностью, и мной, ряловым провинциальным работником. Еще тяжелей стало на душе, когда ушел я от Плеханова. Ну, думал я, если и Ленин произведет на меня такое же впечатление, как эти трое, то плохо дело. Не с кем будет поговорить обо всем, о чем наказывали товарищи в Саратове.

Ильич жил с Надеждой Константиновной где-то за городом. Помню, дорога вела вдоль Женевского озера. Я встретил Ильича по дороге. Почему-то я сразу подумал, что это он. Спросил его, как мне пройти к такому-то дому. «Вы ко мне?»—ответил он мне.—Я—Ленин». Я ему сказал, кто я. Мое имя он знал по московской работе и по ссылке. Узнав, что я приехал делегатом на с'езд, он сейчас же забросал меня вопросами, буквально обо всем, что делается у нас в Саратове, какую работу мы ведем,

каково настроение рабочих, крестьян. Задавая вопросы, он, незаметно для меня, подверг меня самому подробному экзамену. Делал все это оп так тактично, так по-товарищески, что я и не заметил, как рассказал ему всю подноготную. Он вышутил нашу боязнь полемики, резкого тона «Искры», и просто и ясно доказал, для чего она нужна. Стыдно мне стало, когда я понял, что мы на местах не выходим из рамок сегодняшних интересов нашей местной организации, а Ильич стоял целиком на точке зрения целостного тактического плана развертывающейся партии. Особенно это стало ясно, когда в дальнейших беседах, а их была не одна, Ильич развивал передо мной и другими, постепенно прибывавшим, делегатами весь план предстоящих работ. Мы все форменно влюбились в него. В этих беседах он нас фактически перевоспитал, выбил из нас тот кустарнический характер, которым невольно страдали все работники, тесно связавшиеся с местной работой. Мне много пришлось говорить с другими делегатами об этих до-с'ездовских беседах с Ильичем. И все единогласно говорили, что чувствуют, как выросли в партийном отношении во время этих общений. Главное, никогда Ильич не давал нам чувствовать, что он нас учит, выходило так, как будто он с нами советуется. А сколько хороших, чисто товарищеских вечеров провели мы с ним за время с'езда! Особенно когда раскол уже наметился, и наша группа будущих большевиков тесней сплотилась вокруг Ильича. Вечером мы собирались в Брюсселе, а после в Лондоне, в каком-нибудь кафе, весело болтали, составлялся импровизированный хор, Ильич очень любил пение. Среди нас хорошо пел баритоном С. И. Гусев, и его мы основательно поэксплуатировали.

В Лондоне, в первое же свободное воскресенье, Ильич повез нас на могилу Маркса. Он, видно, не раз бывал там до нас. Хотя пришлось ехать чуть ли не на противоположную сторону гигантского города, надо было несколько раз менять трамвай и omnibusы, Ильич обнаружил превосходное знакомство с городом и повел нас наикратчайшей и наиболее дешевой дорогой. На кладбище, хотя он знал, где расположена могила Маркса, он предложил для опыта спросить сторожей, знают ли они, где эта могила. Как он и предвидел, никто из сторожей не знал, все направляли нас за справками в контору. «Видно, не очень часто ее посещают»,—сказал Ильич и повел нас напрямик к могиле. Мне особенно резко вспомнилась эта фраза Ильича, когда я стоял перед его гробом. 20 лет прошло с тех пор. Как бесконечно много сделал Ильич за это время, чтобы не только обессмертить себя, но и для того, чтобы возродить живого Маркса, забытая могила которого на Лондонском кладбище стала за это время дорогой и близкой всему человечеству. Ленин своими действиями заставлял всех трудящихся, всех угнетенных знакомиться с вечно живой, вечно революционной теорией Маркса.

Я помню, с любовью я смотрел тогда на Ильича и верилось, что именно он поведет нас на правильный, на истинно-марксистский путь. Я не помню, что именно говорил нам у могилы Ленин, но на всю жизнь сохранилась в памяти его фигура среди нас, его задушевный голос, в котором чувствовалась великая любовь к нашему общему учителю. Вечер после кладбища мы провели в маленьком немецком кабачке, который и во время остальных с'ездов служил излюбленным нашим местонахождением. Там нас уже знали и не удивлялись больше аппетиту, с которым мы поглощали невероятное, с точки зрения англичан, количество хлеба.

Второй съезд заканчивался. Раскол стал фактом. Мы оформливаем нашу фракцию. Ильич дает каждому подробные инструкции, как вести себя в комитетах, на что обращать внимание при докладах. Для нас всех ясно, что именно мы призваны создать под руководством Ильича партию. Сам он, бодрый, решительный, смело смотрит в будущее. Его энтузиазмом заразился и Плеханов. Он блещет остроумием в характеристиках своих товарищей, очутившихся в лагере меньшевиков. Мы весело хохочем над анекдотами, которые рассказывает Плеханов про Засулич, Дейча, Аксельрода и Мартова. Веселей и заразительней всех хохочет Ильич, потягивая любимое им мюнхенское пиво. Тогда никто из нас не предполагал, что наш единомышленник Плеханов скоро сам перекочет к меньшевикам. Ни в одном вопросе Плеханов во время этих бесед не расходился с Лениным.

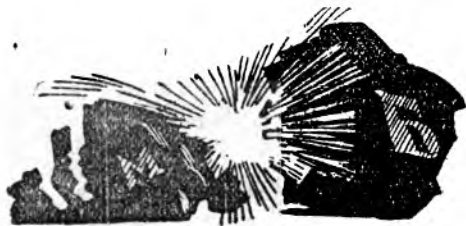
Часть товарищей вернулась в Россию. Мне пришлось еще год с лишним прожить за границей. Сначала по поручению Ленина я об'ехал заграничные колонии с отчетом о съезде, затем пришлось проработать некоторое время в Берлине в качестве представителя ЦК, принимать новых эмигрантов и предварительно обрабатывать их до их приезда в Женеву. Владимир Ильич и Надежда Константиновна часто писали, осведомляли меня о каждом шаге меньшевиков, о каждой новости из России. Увы, все эти письма, которые я тщательно берег, через несколько лет были арестованы в Берлине, не знаю, удастся ли их когда-нибудь вернуть из архивов берлинской полиции. Ильич давал не только блестящую политическую информацию, но и ряд практических указаний по перевозке нелегальной литературы. Этим делом тогда в Берлине ведали Пятницкий и Копп. У них была вполне налаженная экспедиция в подвале редакции немецкой с.-д. газеты «Форвертс». Ильич требовал подробнейших отчетов и давал ценнейшие советы. Давал он также и много ценных указаний в той работе, которую мы затеяли тогда в Берлине с Карлом Либкнехтом, с которым мы тогда сошлись. Именно по указаниям Ильича я убедил тогда еще молодого Карла Либкнехта широко ознакомиться германских рабочих с нашим рабочим движением. Мы сообща составили подробный доклад о русских делах. Либкнехт, которому я переводил этот доклад на плохой немецкий язык, отделал его на понятный для немцев язык, подобрал несколько молодых немецких товарищей, добился после сопротивления немецкого ЦК с.-д. партии разрешения организовать агитационную поездку этих товарищей по крупным центрам Германии. Таким образом мы добились тогда того, что о русском движении, о котором лемзы до того совершенно ничего не знали, они познакомились в нашем большевистском освещении. Ильич придавал этому ознакомлению германской социал-демократии большое значение.

Ходил я по его советам и к лидерам немцев. Бебель и Зингер принимали меня довольно сурово. Они совершенно не верили в серьезность русского рабочего движения... Для них то, что произошло на съезде, было доказательством того, что нам рано говорить о партии. Особенно Бебель ворчал, когда узнал, что наш съезд продолжался целый месяц. «Ну, какие вы работники, когда ходите целый месяц на болтовню на съезде. Мы, немцы, в три-четыре дня решаем на наших съездах все вопросы». О Ленине он не хотел и слушать. Для него единственными авторитетами были Плеханов и Аксельрод. «Мы их знаем и им верим». Понес я в редакцию «Форвертса» официальное письмо Ильича, который просил в виду оформления нашей партии и выбора центральных органов партии впредь при-

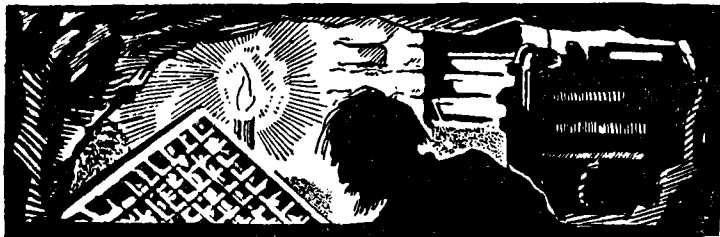
нимать корреспонденции из России только из официальных партийных источников. В редакции мне ответили, что на это согласиться они не могут. В России существует много партий, есть, кроме нас, эс-эры, бундовцы, сионисты, освобожденцы. Им в Берлине трудно судить о том, которая из этих партий настоящая, поэтому предпочитают принимать информации от всех. Ильич сильно ругался, когда узнал от меня про эти ответы, но советовал не унывать и продолжать добиваться иного отношения. Большой интерес и большее понимание я встретил у Каутского и Розы Люксембург. Правда, оба они решительно осудили Ленина за раскол, обвиняя его целиком за все происшедшее. Они верили информации Аксельрода, который отрицал совершенно идейную подоплеку раскола, а приписывал все диктаторству Ленина, желанию его ввести бюрократический строй в партии, «осадное положение для иначе мыслящих». Но все же они оба старались нас понять, и я продолжал регулярно информировать обоих о дальнейшем ходе вещей.

Скоро мне пришлось уехать из Берлина.

В Женеве я застал резко изменившуюся картину. Плеханов после съезда заграничных организаций (лиги русской революционной социал-демократии), ставших в большинстве своем на точку зрения меньшевиков, испугался и стал убеждать Ленина пойти на уступку и кооптировать в редакцию неизбранных на съезде редакторов. Ильич много и серьезно обсуждал этот вопрос с нами. Его жестоко поразила шаткость Плеханова. Ильич ведь всегда очень высоко ценил Плеханова. Но пойти на уступку он не мог. Это значило бы отказаться от той партийной позиции, которая была нами завоевана на съезде. Допустить, чтобы заграничные, оторванные от жизни, кружки студентов могли пересмотреть решения съезда партийных работников, Ильич не мог. Помню, что все мы, собравшиеся в Женеве его сторонники, тоже настаивали на том, что уступать не следует. Ильич отказал Плеханову. Плеханов пригрозил уходом из редакции. Ильич, несмотря на то, что за его позицию высказались тогда все важнейшие организации, как петербургская, московская, нижегородская, тверская, одесская, тульская и северный союз, все-таки решил уйти из редакции «Искры». Насколько помню, мы все высказались против этого решения. Нам казалось, что Ильич не в праве это делать. Но он был непреклонен. Он не решил вести «Искры», имея Плеханова в рядах противников. Он учитывал, что среди нас, большевиков, опытных литераторов не было, мы преимущественно были практиками. А у меньшевиков собрался весь цвет писательской братии. При таких обстоятельствах Ильич боялся, что в России работники не поймут его упорства, обвинят его в том, что Плеханов ушел из редакции. Было очень тяжело у всех на душе. Особенно, когда наш вчерашний соратник Плеханов с места в карьер набросился на Ленина на страницах «Искры» со всем арсеналом грязных и пошлых обвинений, которые до того выдвигались со стороны меньшевиков.



VIII
В ЦЕНТРЕ
РЕВОЛЮЦИОННЫХ БУРЬ





С. Чапко.

Ленин за границей и в Терриоках



свободенный из царской тюрьмы под новый, 1905 год, и не желая вновь быть запертым в ней по ожидаемому суду, я весной пробрался за границу. Я стремился в Женеву—тогда нашу Мекку. Сюда стекались израненные, усталые революционеры подкрепиться у живого источника революционной мысли новыми силами, духовными и физическими.

Временно застреваю в Берне, где, при помощи т. Г. Зиновьева, знакомлюсь с последними изданиями партийной литературы и разногласиями, вытекавшими из положения на Лондонском съезде партии. Но фракционные речи и взаимные придирки тогда еще бумажных противников не дают должного ответа на вопрос—за кем идти. Старые меньшевики, ученики Маркса и Энгельса, были не плохими диалектиками, и на словах умели выходить из всяких положений.

А, вот, ответьте на проклятые вопросы: крестьянство пойдет с нами с рабочим классом или с буржуазией? Вооруженные восстания готовить? Оружие доставлять и на какие средства и какими путями и мерами? Неужели на членские взносы членов партии из сочувствующей либеральной и радикальной интеллигенции!? Ну, а как удержаться после восстания, с кем делить власть после революции? Неужели тактики придется сесть за стол вместе с г. г. Родзянко и Головиным и полюбовно, по-хорошему начать дележ власти!?

Ответьте же, т. т. Плеханов, Мартов, Дан и пр!

Это вы сядете после революции за стол с г. г. Путиловыми и Гучковыми, чтобы предъявить счет за пролитую десятилетиями рабочую и крестьянскую кровь? Ответьте же,—нам некогда, нас ждут в России, мы посланы к вам за ответом.

— А что скажете вы, т. Ленин?

И он отвечал...

На деревянных подмостках женевского кафе «Андверка» и «Ландольки»—он, один из многих, отвечал на проклятые вопросы.

Говорил велеречиво Плеханов, образованнейший среди тогдашних марксистов, цитировал не только Гегеля и К. Маркса, но, блистая афоризмами и стишками из Пушкина, Салтыкова-Щедрина, всем своим европейским видом почетного парламентария, нас убеждал, что иначе быть не может...

«Все в процессе, история делает скачки лишь на определенной степени развития, а потому»... а потому: «раньше вы, рабочие, своей кровью свергаете царизм, немножко вам поможет крестьянство, но не надейтесь на него, оно—крестьянство—раньше побывает в Вандее, ну, а потом уже настоящие конституционные буржуи сядут—ну и мы, ко-

печно, с ними тоже рядом,—ну, и так далее, «весь процесс» полагается, как по истории. Это так, это говорю вам я, Плеханов, готов даже подписаться. Впрочем, в такой-то книге я уже давно это сказал...».

Таков был лейт-мотив всех, самых научных, речей его.

Тоскливо..... повеяло шаблоном..... Но слово за ним, за т. Лениным. Насторожились

«Товарищи.....» (он слегка картавил, буква «р» переходила в «г»). Открытый лоб, острый, слегка шурящийся, пристальный взгляд проницывает вас. Это произошла огневая смычка трибуны с массой).

И он говорит..... Он не спорит.

«Прав т. Плеханов по К. Марксу и Гегелю, даже по Пушкину и Щедрину, все правильно высчитано и даже искусство причесано по европейской истории. Но вы, господа хорошие, отстали от истории русского революционного движения. Вот тут вы не заметили, а там вы не видите, а здесь не хотите слышать, а отсюда отворачиваетесь... От революционной массы, от ее стихийного порыва вы прикрываетесь резолюциями, волну революции вы пропускаете через свое дырявое решето прямо на мельницу буржуазно-помещичьего конституционализма».

Он уже не защищается—он нападает, он бьет обухом по лбам мелкотравчатых врагов. Он острием ножа вскрывает черепную коробку врага и бороздит лезвием по его мозгу... Революция жива, она грядет, рабочий класс наливается сознанием, только он, во главе всей крестьянской, безземельной и батрацкой Руси, победит,—и это будет совсем не так и гораздо раньше, чем меньшевики и эс-эры думают...

Уф!.. Буря пронеслась, освежила воздух, смела гусениц с молодой листвы и с зеленых почковых побегов...

Таков был В. И. в ту тяжелую годину работы русского большевика, наш Владимир Ильич, товарищ Ленин, тогдашний учитель и будущий великий вождь величайшей в мире революции.

А вот он, домик на Запчатной улице г. Женевы. С родственным чувством я приближаюсь к нему. Со мною т. Гр. Зиновьев и, кажется, тов. Бонч-Бруевич. Им, моим спутникам, и невдомек, как сердце сильно билось у меня. После нескольких месяцев пребывания в эмиграции, я по революционному зову тороплюсь вернуться в Россию.

И уже я знаю твердо, что отсюда, из сокровищницы мозга Ленина невидимые нити протянутся по дальним степям и равнинам российским, по фабрикам и заводам, утоляя революционную жажду, руководя сознанием революционных масс.

... Две комнатки, одна другой меньше, и кухонка. Одна из комнат—кабинет и спальня Владимира Ильича. Он узнает, что я возвращаюсь в Россию. Ласково смотрит, легонько ободряет... Тут и Надежда Константиновна. Она имеет, как секретарь бюро Ц. К., снабдить меня «явкой» и мандатом. Она предлагает выпить чай,—время послеобеденное.

Разговоры о России, куда я еду,—теперь их не вспомнишь, но тогда стоял октябрь 1905 г., первая всероссийская жел.-дор. забастовка. Было, о чем передумать революционному вождю.

Там, в далекой России, рабочие расправляли свои плечи и готовились к удару,—всем надо торопиться туда на помощь.

Орлята в нетерпении машут крыльями, пробуют взмахи в полете. И Орел вскоре подает им знак и первый будет среди них и впереди их.

Не прошло и месяца—двух. Я, перебравшись в Россию, метался в частых поездках по району Иваново-Вознесенска—Шуи, в Петербург,

в Москву и обратно. А Ильич уже был в России, имя его было у всех на устах.

В 1906 г. я засел в Петербурге, работая при П. К. в районе за Нарвской заставой, преимущественно на Путиловском заводе.

Реакция не успела еще одолеть революционной волны, и в этом году я Ильича и, в особенности, Надежду Константиновну встречал часто.

Помню его на одной из наших конференций в Терриоках в 1907 г., в период разгона и созыва одной из недолговечных царских «Дум».

Ильич председательствовал. Конференция продолжалась всего несколько часов, с перерывом. Решался вопрос: участвовать ли нам в выборах в Думу или бойкотировать. Помнится, решили: в выборах принять участие исключительно ради целей агитации и выявления бессилия Думы, не внушая массе никаких иллюзий на эту убудочную форму царской конституции.

Когда отмечаешь путь Ильича, трудно отделить в своей памяти, в своем сознании прекрасный образ спутницы пережитых Ильичем бурь, тревог и побед, оруженосца нашего великого вождя—Надежду Константиновну.

Я в жизни не встречал более скромной, более глубокой и сияющей какой-то внутренней красотой, более чуткой женщины, чем Надежда Константиновна.

Г. Лиздин

Две встречи

В 1905 году рабочими Балтийского завода (Балтвода) на Васильевском острове, на Большом пр., в доме № 82, был устроен клуб, под названием «Клуб рабочих Балтийского завода», так гласила вывеска, имевшая внизу надпись: «Российская социал-демократич. партия». Клубом руководили Знаменский и Козлов¹⁾.

На одном вечере сообщили, что придёт представитель из города и будет доклад «О задачах партии». Идя из гавани в клуб, заметил, что из рядом расположенной обойной фабрики выезжает отряд казаков. Чтобы лучше узнать, в чем дело, пошел мимо клуба и фабрики. Из ворот фабрики вышел местный пристав и сказал: «По первому знаку».—Сказав это, он с околоточным и четырьмя городскими пошел в клуб. Я последовал сзади. Войдя в переднюю, пристав хотел направиться в зал, но рабочие запротестовали и не пустили. Я пробрался мимо пристава, и сейчас же меня окружило несколько молодых товарищей—отозвали в сторону и начали говорить, что они хотят убить пристава. Я запротестовал и рассказал, в каком положении мы находимся. Потом, успокаивая одного горячего парня—Баранова, который постоянно по-

¹⁾ Клуб этот имел название не это, а „Наука и Жизнь“. На вывеске „Р. С. -Д. Р. П.“ не было написано. Организовала этот клуб группа с.-д. Балт. завода в конце 1905 г. или в начале 1906 г. Козлов, Лаврентий Иванович (с 1903 до 1918 меньшевик, с 1918 член РКП, ныне работает в коллегии Сев.-Зап. кино), тогда рабочий завода. Он подписал устав клуба, был дежурным от ремонтной мастерской. Павел Шувалов.

силса с револьвером, я стал его убеждать, что убийство одного пристава не наша цель.

В это время подошел ко мне незнакомец, который зорко следил за происходящим в зале, и спросил:

— Товарищ, почему вы против намерений молодежи?

Не зная его, я ответил:

— Я не анархист и не эс-эр, и такой поступок допустить не могу.

— Значит, вы против вооруженного восстания?

— Нет, напротив, организованное массовое, вооруженное восстание—моя цель.

Незнакомец, улыбувшись, подал мне руку и сказал:

— Значит, вы ортодоксальный марксист.

В это время около дверей поднялся некоторый шум, я пошел к дверям. Пристав именем закона требовал своего присутствия на собрании. Рабочие протестовали, но зная, что рядом сотня казаков, разрешили приставу присутствовать. После открытия собрания,—не успел оратор сказать несколько слов,— пристав закрыл собрание. Казаки гарцовали по Большому проспекту, разгоняли нас, но не били.

Клуб через несколько дней был закрыт, вывеска была сорвана. Членские взносы Знаменский начал возвращать.

Только через некоторое время я узнал, что незнакомец, который вел со мной разговор о восстании, был наш дорогой Ильич.

М. Лазуркин

Беглые воспоминания

Я впервые увидел т. Ленина в 1905 году, когда после октябрьских дней наша партия наполовину вышла из подполья и состоялось собрание активных работников всей Петербургской организации. Я не помню точно ни даты, ни адреса собрания. Кажется, это было в ноябре и в народном доме графини Паниной. Не помню и темы доклада т. Ленина, но ярко, на всю жизнь врезалось мне одно обстоятельство—та одновременно и изумительная простота и изумительная ясность ответов и такая сердечность в ответах, что товарищи, обычно очень сдержанные в вопросах, здесь охотно задавали их, и сам я, хотя и работавший уже два года партийным работником профессионалом-большевиком, но весьма теоретически сырой, задал мучивший меня вопрос о большевиках и эс-эрах в аграрном вопросе. Помню, что и форма вопроса была очень путана. И на всю жизнь я запомнил, как ответил Ильич. Как мягко, тепло указал на неправильную постановку самого вопроса, как развернул его, и больше того, что дал мне своим пятиминутным ответом Ильич, я не получил за все последующие годы. Вопрос стал прозрачно ясен, и я на всю свою пропагандистскую работу был закален в спорах с эс-эрами, понявши суть вопроса.

И эта теплота и ясность, чудесная улыбка при исправлении постановки вопроса, ясность и огненность в развитии его—запали в меня на всю жизнь. Прошло почти 20 лет, а я, как сейчас, вижу Ильича, стоящим у продольной стенки на возвышении, говорящим, и притягивший, тянувшийся к нему зал.

Дальнейшие воспоминания мои относятся к периоду сравнительно недавнему—к 1917 году: встреча Ильича на Финляндском вокзале, броневик, дом Кшесинской, пламенные речи о грядущей, уже наступающей социальной буре и пр. и пр.

Моменты эти много раз описаны, и останавливаться на них я не буду. Остановлюсь лишь на праздновании в 1917 году 1-го мая—первом свободном празднике. Ленин тогда всего меньше месяца как приехал; однако, уже громадные массы питерского населения, толпившиеся вокруг воздвигнутых на площадях трибун для первомайских ораторов, настойчиво интересовались им, требуя от выступавших сведений о Ленине. В частности, когда я с трибуны указал, что знаю Ленина и знал его еще в 1905 году лично, к трибуне кинулась отовсюду масса народа и из толпы посыпались реплики недоверия, выкрики о «германском шпионе», «жиде» и пр. и пр., и лишь определенные и ясные мои ответы убедили толпу, что т. Ленин действительно старый революционер, известный своей преданностью революции. От меня толпа потребовала мое имя и адрес и, хотя время было такое, когда большевикам не особенно приходилось рекламировать себя, я не считал возможным не сказать всего.

В дальнейшем я много раз встречал т. Ленина в коридорах Смольного, всегда ровного, окруженного ближайшими соратниками, выделявшегося уважением к нему окружающих, соединенным с самым простым товарищеским отношением.

Особенно незабываем Ильич 1917 года тем товарищам, которым пришлось присутствовать и пережить внутренний процесс овладения Ильичем большевистской организацией, сначала, несмотря на громадное уважение к Ленину, отнесшейся довольно скептически к линии прямо к социализму, к переименованию партии и пр. и пр. Надо было видеть, с какой постепенностью, выдержкой на дискуссиях, шел Ильич к своей цели.

Всякий вообще, кто видел Ленина во время дискуссии, не забудет этого никогда. Такого мастера, без излишнего ораторского пафоса, но стальной логикой приравненного противника в стене, белый свет не видел. А улыбка Ильича, когда он слушал противника и ясно было, что уже с первых слов противника знает, что тот скажет дальше, знает, в чем у него слабое место! Мы всегда при этой улыбке не выдерживали и подталкивали друг друга: «посмотри, посмотри на Ленина, на глаза»... Если вы хотите видеть эту улыбку и эти глаза, посмотрите на портрет 3-летнего Ленина в Кремлевском Музее Революции или на хорошей фотографии этого портрета.

П. Куделли

- Из далеких и ближних лет

Пришел великий 1905 год. Мы все, петербуржцы, работавшие в провинции, рвались в родной Питер, где после 9-го января назревали серьезные события. Вскоре для некоторых из нас представился удобный случай. Было получено извещение от центра, что в первых числах декабря состоится партийный съезд. И вот делегатом от Тульского коми-

тета РС-ДРП(б) я явилась в Питер, а затем в Финляндию, где в городе Таммерфорсе в Народном Доме нас дружески приняла финская социал-демократическая рабочая партия.

Делегатов съехалось мало из-за железнодорожных забастовок, почему предполагавшийся большевистский съезд пришлось переименовать в конференцию.

— Ленин, Ленин приехал!—радостно переладали мы друг другу. Все заранее оживились, хотя еще никто не видел и конференция не открылась.

«Наконец-то я увижу этого бонапартиста, централиста, бланкиста»... и мысленно стала я перечислять все те комплименты, какими неделями его меньшевики...

Выбирается президиум, председатель конференции Ленин—единогласно. Всматриваюсь, знакомые черты, высокий лоб, пронизывающие глаза. Из туманной дали встает неясное воспоминание. Да, это, кажется, свидетель моей лекции о Французской революции. Только лысина стала больше, зато глаза горели необыкновенным огнем, движения были легки и быстры. Это были дни начала вооруженного восстания в Москве, и Владимир Ильич чувствовал себя, как в родной стихии.

Ударным вопросом было объединение меньшевиков и большевиков. Меньшевики тоже собрались на конференцию, но в каком-то другом городе, а для связи с нами прислали двух делегатов.

Должны были вскоре начаться выборы в первую Государственную Думу, и само собой разумеется, что одним из главных пунктов порядка дня стоял вопрос об отношении к Думе. Мы все после удачного срыва булыгинской Думы настроены были бойкотистски. Обмениваясь мнениями, высказывались за полный бойкот—определенно. Всех, конечно, интересовал вопрос: как думает Ильич, что то он скажет? Но разве могли быть какие-либо сомнения! Конечно, Ленин с нами за бойкот, разнипа будет лишь в том, что он даст яркую, выпуклую, скульптурную формулировку и твердое блестящее обоснование.

Собрание приступает к занятиям. У Ленина сияют глаза: только что газеты принесли известие, что московские рабочие уже дерутся на баррикадах. В приподнятом настроении и вся конференция.

Председатель Ленин заявляет, что в президиум от группы делегатов поступил проект резолюции по вопросу о Государственной Думе. В ней говорилось (излагаю исключительно по памяти, ибо протоколы названной конференции не напечатаны и, кажется, еще не найдены) приблизительно следующее: с.-л. на первых двух ступенях с агитационной целью принимают участие в выборах, но категорически отказываются от выборов депутатов в Думу¹⁾.

Всеобщее движение, шум, гам, хохот...

— Зачем выбирать?! Наша тактика—бойкот—очень здорова. Зачем переменять?—громко восклицает товарищ Джугашвили (Сталин), бывший делегатом с Кавказа.

Конференция не может успокоиться. Громкий говор, смех продолжают. Новая реплика с мест:

— Выбирать, хотя и на первых двух стадиях—преступление перед революцией.

Глаза всех устремлены на Ленина, и, заранее предвкушая, с каким едким остроумием заклемит он составителей резолюции, многие кричат:

¹⁾ Выборы в Государств. Думу были, как известно трехстепенны

Ленин! Что скажет Ленин?!

Ленин берет слово. Сразу все затихли, ждут, что скажет он.

— Товарищи, я должен признаться в соучастии в этом преступлении...

Новый взрыв хохота потрясает конференцию и не дает Ленину говорить. На лице у него добродушно-хитрая улыбка, светящимся взглядом обводит он волнующихся делегатов.

— Вам, работникам с мест, виднее,—продолжает он,—вы, конечно, лучше знаете настроение масс на местах, вам по праву принадлежит решение этого вопроса... Я так долго был в эмиграции, вам виднее...— и Ленин пошел за конференцией.

— И все это произошло так просто, так естественно. Мы видели перед собой доброго, хорошего, родного каждому из нас товарища... И хотелось крикнуть: «он наш! он с нами!»

Была принята другая резолюция, рекомендующая вовсе не участвовать в выборах в Государственную Думу, но широко использовать все избирательные собрания в целях агитации за вооруженное восстание¹⁾.

Раздосадованные меньшевики покинули конференцию.

Этот инцидент был злобой дня.

— Не может быть, чтобы Ленин серьезно стоял на точке зрения участия в выборах в Государственную Думу, хотя бы только на первых двух стадиях.

— Конечно, нет... Хитрый, это с его стороны был пущен пробный шар, чтобы выявить лицо конференции.

— Он таким путем показал меньшевикам, что с его стороны не было никакого давления на конференцию... Но какой же в самом деле он абсолютист, бонапартист и проч. и проч.!?

На такую тему велись разговоры среди делегатов за обедом и во время перерывов. Кто из них был прав? Как бы то ни было, но факт остается фактом и одно несомненно: Владимир Ильич обращал огромное внимание на информацию с мест, настроение масс, что помимо всего другого придавало огромную силу и непобедимость его тактике. Вопрос ставился определенно: от периферии к центру, а затем от центра к периферии,—вот в чем сила демократического централизма.

Между тем газеты приносили все новые и новые вести о московском вооруженном восстании, с каждым днем все более безнадежные. Но велики были надежды на новый революционный подъем в Питере и вообще в России. Конференция, под руководством Владимира Ильича, не падала духом, и бодрые, готовые к новому натиску на самодержавие, делегаты разошлись по своим комитетам.

О. А. Сергун

Учитель и вождь в подполье

По всей вероятности, это было в 1906 или 1907 г. Помню, были забастовки. Я тогда не состоял ни в каких кружках, ни в партиях, но доверие со стороны партийных ко мне было огромное. Часто случалось, что

¹⁾ Полная резолюция напечатана в книге «Росс. Комм. Партия (б) в резолюциях ее съездов и конференций» под редакцией Л. Каменева. Гос. Издат. Москва, 1922 г., стр. 46.

белье из нашего комода переползало в сундук, а в комоде устраивался склад прокламаций и брошюр.

Перед уходом Ильича в подполье он был у нас на Путиловском и у часовни говорил с рабочими. О чем говорил,—не помню. Слишком давно это было, да и стар я—память плохая стала.

В июле или августе активно участвовавшие в социал-демократической группе Путиловского завода Беляев и Зенкевич (оба студенты-технологи) вызвали из группы социал-демократов Путиловского завода одного товарища (фамилии не помню) и просили его снести товарищу Ленину еду, но главной целью была передача Ильичу сводок о настроении рабочих Питера.

Этот товарищ взял и меня с собой.

Жена Хрусталева-Носаря передала нам съестные припасы, а Беляев или Зенкевич—хорошо не помню—дал пакет для передачи товарищу Ленину. Адрес на пакете был написан на непонятном языке.

Вышли мы из дому вечером. Товарищ Ленин жил вблизи Пулкова.

Мы очень торопились и не заметили, как перед нами промелькнули Волжско-Ямская и Рогатка.

Прошли около Пулкова речку и скоро за ней нашли захудалую избенку.

Хозяина избы дома не было. Была только жена да двое ребятшек. Избенка тесная, грязная.

Товарищ Ленин был не один. С ним был еще кто-то, мужчина лет 30, высокого роста, темнорусый.

Ильич был одет в рабочий костюм, серые поношенные брюки.

Встретил нас товарищ Ленин очень приветливо, соскучился. Вести из Питера приходили редко.

Мы не успевали отвечать на его многочисленные вопросы.

— Ну, как Путиловский?

— Какое настроение в Питере?

— Что пишут в газетах?

— Что предпринимали?

Мы начали рассказывать. Говорю, примерно, про новоснарядную мастерскую, а в середине нашего рассказа:

— Кого из ваших уволили?

— Каково положение в мастерских?

Долго расспрашивал, потом отвел к печке моего товарища-партийца и что-то говорил с ним,—видно, о партийных делах.

Долго после этого беседовали. Ильич, шутя, рассказывал, как он от скуки курам хлеб из окошка кидает и забавляется с детьми хозяина.

А малыши, видно, привыкли к Ильичу. И, когда он их подзывал, они без стеснения садились к нему на руки и висли на шее.

Потом мы узнали, что хозяин того дома, где проживал товарищ Ленин, ночью перевез его и товарища на лодке через реку, и товарищ Ленин перебрался за границу.

Н. Мещеряков

Несколько строк

Весной 1906 года Ленин приехал в Москву, чтобы обсудить здесь с товарищами тезисы большевиков к Стокгольмскому съезду. Я в то время был членом Московского Округного Комитета. Хотя громадное

большинство и в комитете и в организации было на стороне большевиков, мы повели по отношению к меньшевикам слишком нерешительную, соглашательскую тактику. Эта тактика дала самые скверные результаты по отношению к выборам в 1-ю Думу. Кое-где бойкот был проведен при нашем участии, кое-где мы участвовали в выборах по первой стадии. Не была целиком проведена ни та, ни другая тактика, хотя при тогдашнем настроении рабочих Московской губернии тактику бойкота провести было возможно.

Владимир Ильич явился на заседание Московского Окружного Комитета. На этом собрании мы горько каялись в сделанных нами ошибках. Владимир Ильич слушал и упорно молчал. «Да выругайте вы нас получше»,—шутя сказал ему один из товарищей. «Поздно, товарищи,—ответил ему Ленин.—Надо было по сильнее ругать вас раньше, да, по видимому, никто этого не делал. А теперь дело так испорчено, что никакой руганью не вернешь сделанного. Теперь надо думать, как в будущем исправить ваши ошибки».

С. Неслуховский

Ленин в 1906 г.

В жизни человека такого грандиозного, «планетарного», как сказал М. Горький, масштаба, каким является Владимир Ильич Ленин для человечества, важно все до последних мелочей, все, что только может помочь в создании исчерпывающей по своей полноте картины его жизни и деятельности.

Вот почему я решаюсь в нескольких строках изложить то небольшое и, может быть, само по себе незначительное, что сохранилось в моей памяти от детских почти воспоминаний о В. И. Ленине.

Осенью 1906 года, когда революционный пожар уже угасал, залитый потоками народной крови, когда после пресловутых «дней свободы» полицейский режим создавал все более и более трудные условия в отношении конспирации, по просьбе моего дяди Дм. Лещенко, активного работника-большевика, Владимиру Ильичу была предоставлена в нашей квартире спокойная комната для работы.

Дело в том, что наша квартира помещалась в стенах казенного дома—юнкерского училища (Петербургская сторона, Гребенская улица, д. № 9), в котором служил мой отец, и была особенно надежна в отношении конспирации и сравнительно хорошо застрахована от возможности внезапного провала. Эта квартира,—ее должно быть помнят многие старые партийные работники,—вообще говоря, служила часто приютом партийным товарищам, временно нуждавшимся в надежном убежище. Там же одно время устраивались совещания членов ЦК РС-ДРП, а затем до момента ее провала в 1910 г. она, так сказать, служила штаб-квартирой для с.-д. ученической организации при ЦК РС-ДРП.

Владимир Ильич приходил к нам довольно регулярно в течение, примерно, двух месяцев, работал в день часов до 4-х.

Работал он чрезвычайно напряженно, энергично и нервно. После его ухода мы часто с детским любопытством осматривали комнату, где он работал, поражаясь всегда громадным количеством бумаги, которую

он исписывал; на обязанности старшей сестры лежало готовить для него письменные принадлежности и чинить карандаши, которые он нещадно ломал.

О тов. Ленине мы—мои две сестры и я—еще до его прихода к нам, много слышали, как о вожде партии, имя которого произносилось всегда с большим уважением, а часто и с восторгом. Конечно, поэтому его приход к нам был целым событием в нашей жизни. Сначала мы сильно робели, боясь даже показываться ему на глаза, но, вскоре, видя его чрезвычайно простой и душевный подход к людям, стали относиться к нему с тем характерным для подростков доверчиво-восторженным чувством, когда хочется подойти, рассказать все самое сокровенное, волнующее тебя и получить совет и руководство, которому можно довериться вполне и без сомнений и колебаний.

Помню, как старшая сестра Татьяна (ей было лет 15—16) обратилась к Владимиру Ильичу,—мы его звали тогда, помнится, Николаем Николаевичем: рассказав о волнующих ее мыслях, она просила дать ей возможность работать в партии. Владимир Ильич по-отечески разъяснил ей, что в партию вступать ей рано, что надо сначала идти в кружки социал-демократической молодежи, проникнуться, как следует, марксизмом, подготовить себя теоретически и практически и тогда уже вступить в партию. Партии нужны толковые и знающие люди. В заключение он дал ей связи с ученической соц.-демократической организацией.

Те немногие минуты, когда Владимир Ильич отдыхал, он зачастую шутил с нами. Помню, как он с нарочито грозным видом опарашил нас вопросом, не меньшевики ли мы, на что, после минутного замешательства, мы без колебания ответили, что, конечно, большевики.

Придавая, как и всегда потом, большое значение армии, как важному фактору революционного переворота в России, Владимир Ильич интересовался настроением юнкеров, часть которых тогда входила в нелегальные с.-д. кружки, и возможностью среди них политической пропаганды, спрашивая моего отца.

Столь сильно импонировал Владимир Ильич окружающим его людям просто силой и обаянием своей личности, что даже, конечно, не знавший, с кем он имеет дело, солдат-вестовой, служивший у отца, не зная, как иначе выразить свое почтение, величал Владимира Ильича не иначе, как «господин генерал».

Вообще, вспоминая все это, ставшее уже далеким прошлым, думаю, что всякий, кому довелось хоть немного, но вблизи видеть жизнь тов. Ленина, должен сохранить в своей душе, до самой смерти, его незабываемый образ, образ человека с глазами вождя и лбом мыслителя, умевшего быть таким близким всем и в то же время такого безмерно великого.

Ст. Виноградов

Мои встречи

Впервые я встретил Ленина в Финляндии, в Териоках.

В Питере тогда уже заседала Государственная Дума. Центральный Комитет еще формально единой Соц.-Демокр. Раб. Партии находился в руках меньшевиков, во главе с ныне покойным Мартовым.

Меньшевики выдвинули лозунг поддержки «ответственного (перед Думой) министерства». Большевики были против и стояли только за поддержку левого крыла Думы.

Вопрос требовал быстрого решения. Наспех организовалась конференция нашей Петербургской партийной организации.

Во главе стоял Ленин. ЦК партии прислал Мартова. Страсти разгорелись. Мартов кричал на большевиков:

— Это фракция хулиганов!

Ленин отвечал:

— А Мартов организует карательную экспедицию ЦК против питерских рабочих.

Помню хорошо, что вся рабочая молодежь стояла твердо за Ленина. Рабочие пожилые—поддерживали Мартова.

Во время голосования Ленин как-то поднял кулак. Мартов крикнул:

— Ленин, опусти кулак!

— Нет, не опущу!—сверкнув глазами на Мартова, бросил Ильич.



Едва успели мы вернуться в Питер, как уже на второй день вышла довольно большая брошюра Ильича—«Лицемерие 31 меньшевика».

Дело в том, что эти 31 меньшевик покинули демонстративно конференцию, когда убедились, что подавляющее большинство питерских рабочих за Ленина.

Этот факт выпуска брошюры Лениным я отмечаю, как показатель его колоссальной работоспособности. Не иначе, как только ночью Ильич написал эту брошюру (напечатана она 20 января 1917 г.), ибо все время на конференции он был занят на фракционных заседаниях и на пленуме.



Как одевался тогда Ильич?

Носил старый двубортный черный пиджак в мелкую полоску. Рубашка была сатиновая, темносиняя, с мелкими белыми горошинками. Брюки—с пузырями на коленях, черные, с обтрепанным низом. Сапоги смазные, порыжелые.

Я всего больше помню глаза Ильича. Под их взглядом я всегда чувствовал, что я виден насквозь, как стеклянный. И каждый раз, как только взгляд Ильича падал на меня, я как-то подбирался, подтягивался; мелькала мысль:

— А нет ли чего-нибудь во мне очень худого?

IX
ВОКРУГ ЛОНДОНСКОГО С'ЕЗДА





А. Матвеев

Встречи с В. И. Лениным в 1907 г.



етом 1907 года, в конце июля, я с Георгием Ивановым, рабочим Сестрорецкого завода, в настоящее время умершим, были приглашены Районным Комитетом РС-ДРП на собрание (цели собрания сейчас не помню), которое должно было состояться в Финляндии в Куоккала.

Рано утром (был праздничный день) мы пешком, через Редугульскую таможену, перешли границу. Собрание состоялось в одной из дач, присутствовал и Ильич. К концу собрания, через финляндских полицейских, которые в то время сочувственно относились к русской революции, а часть из них находилась даже в рядах партии, мы получили сведение, что русская охранка, как видно, пронюхала о состоявшемся собрании и предполагает на границе по возвращении в Петербург участников его арестовать. Необходимо было предпринять все меры предосторожности.

Я и Иванов решили возвращаться через Дюны, считая, что там более спокойно.

Идти с нами из'явил желание и Владимир Ильич.

Мы беседовали в пути. Вспоминаются в настоящее время исторические слова Ильича, в которых в то время он так ясно определил будущую борьбу рабочего класса и роль интеллигенции в революции.

Обращаясь к нам, он говорил: «Смотрите, ребята, интеллигенция от вас откажется, она считает, что свое получила, и вам на нее надеяться не приходится. Необходимо учиться, так как вам придется все вынести на своих плечах».

Выбранный нами путь, хотя мы и считали более всего безопасным, все же не прошел без приключений.

Было около девяти часов вечера. Было сумеречно. Рассчитывая пройти ближайшим путем, мы сбились с дороги. Упершись в один из дворов и не найдя ни одной человеческой души, мы увидели в одном из домов огонь, к которому направились.

Подойдя к дому, мой товарищ и Ильич остановились поодаль, а я направился к окну, чтобы справиться, как нам пройти. На мой стук в окно выбежали несколько молодых офицеров (как видно, у них был бал) и начали меня ругать за то, что мы здесь шлеяемся. В это время вышел старик-генерал. Успокоив молодежь, он справился у меня, что

нам надо. На мой вопрос, как пройти, спросил: «Зачем вы здесь находитесь?». Я объяснил, что мы, рабочие Сестрорецкого завода, пошли прогуляться, но, зайдя далеко и не рассчитав времени, заблудились. Как видно, это его не удовлетворило и было необходимо дать ему какое-либо доказательство наших слов. Я вынул заводский номер и показал ему его, чтобы окончательно удостовериться, что я—рабочий. Генерал велел показать мне руки и, убедившись по моим мозолям, что я, действительно, рабочий, указал нам путь, по которому мы и вышли через несколько времени к границе—пост Дюны.

При переходе реки, которая является естественной финско-русской границей, мы свободно были пропущены финским постом, но были остановлены на другом конце поста русским пограничником, который в это время, сидя на скамейке, мило любезничал с кухаркой вахмистра. На нашу просьбу пропустить нас—заявил, что граница закрывается в 9 часов, а сейчас позже, и поэтому он пропустить нас не может.

Пришлось упрощать его и доказывать, что мы—рабочие Сестрорецкого завода, что необходимо завтра быть в заводе, где за неявку могут општрафовать. Но наши просьбы не поколебали верного стража. Тогда я достал из кармана несколько серебряных монет и положил их на открытую ладонь пограничника. Его же милая, как видно, очень падкая на чаевые, уже со своей стороны стала настаивать перед ним, чтобы он не пропускал,—сообразив, наверно, что можно получить с каждого из нас по такой же лепте.

Чаевые были даны тогда и тов. Ивановым, но и это не поколебало кухаркиного упорства. И только тогда, когда Ильич в свою очередь сделал то же самое—сердце кухарки смягчилось, и она заявила: «Чорт с ними, пушай идут».

Доехав на «кукушке» (так назывался дачный поезд) до Сестрорецка, Владимир Ильич со следующим поездом уехал в Петербург.

Итак, кухаркина алчность к деньгам спасла Ильича от новой, может быть, тюрьмы или от еще чего-либо похуже.

Эх, если бы знала охранка в то время падкую до дешевой наживы кухарку и верного стража царского престола в лице пограничника—задала бы она им свободу, что пропустили Ильича, который, в 1917 году так испортил всю их обедню!

Гандурин

Воспоминания о Лондонском съезде

Среди большевиков разнесся слух, что приехал Ленин, и что назначено заседание фракции.

Ленин, для нас, рабочих-большевиков, в то время был существом особого порядка. Мы, иваново-вознесенцы, знали Ленина лишь по его книгам и со слов товарищей, приезжавших в Иваново из центра. Нашему воображению не удавалось представить себе авторитетного и общепризнанного вождя в реальных чертах. Ленин! Что он такое? И нам рисовалась какая-то титаническая фигура, какой-то исключительный облик. Встречи с Лениным мы ожидали с нетерпением.

Наконец, Ленин появился на заседании фракции и выступил по большому и острому тогда вопросу о боевых дружинах. Я очень живо помню впечатление, произведенное им на иваново-вознесенцев. Сравнительно небольшого роста, скромно одетый, такой житейски простой, такой обычный по манерам—он разочаровал нас. Вопреки ожиданиям встретить «титана», мы встретили человека, которого так интимно и чисто по-русски в партии и по сие время называют Ильичем. Такие простые, не мечущие искр, глаза, голос—не рыкание трубы, ну, как было нам не разочароваться...

Покончив с целым рядом вопросов, съезд вернулся к своим занятиям. Первым докладчиком по вопросу об отношениях к буржуазным партиям выступил Ленин.

Простой и обыденный на первый взгляд, Ленин, с которым мы почти ежедневно виделись на заседаниях фракции, наконец, был как будто понят нами. В нем выявился, прежде всего, необычайно расчетливый, тонкий, обдумывающий каждый свой шаг, политик. Съезд проходил при явной победе большевиков. Но победа эта давалась не легко. Нужно было вести практическую линию так, чтобы увлекать за собой польскую социал-демократию и латышей. Они хотя и стояли на позициях, близких к большевистским, но заостренность нашей борьбы с меньшевиками им претила, и по некоторым вопросам они оставались на своей точке зрения. К ним нужно было подходить осторожно...

Когда на заседании фракции готовился проект резолюции, Ленин, прежде всего, выяснял и устанавливал возможную позицию по отношению к данному большевистскому мнению национальных фракций. Это была работа осторожная, кружевная, тонкая. Казалось, что Ленин способен долго и терпеливо работать над тем, чтобы подготовить лишь почву, лишь обстановку и бороться хоть за один нужный голос.

Еще одна черта: он очень легко убеждал фракцию: его мнения принимались не как что-то доказанное, а как нечто открытое, найденное. Как организатор, Ленин был сдержан, спокоен, но в нем чувствовалось присутствие где-то глубоко скрытого огня,—огня, горевшего, быть может, тоже спокойно. Его ясная аналитическая мысль, выражаемая обычно очень простыми словами, подчиняла и создавала прочную уверенность в незыблемости излагаемого.

Х

В ГОДЫ ПОДЪЕМА
РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ





Л. Германов

Из партийной жизни

В 1910 году

Революционные огни рабочего движения вновь стали разгораться к осени 1911 г. Этот расцвет рабочего движения был точно предсказан В. И. Лениным.

В конце 1909 г. я поехал за границу. При посещении Ленина я застал его за работой над земскими сборниками. Он работал на счетах, как добросовестный статистический счетчик. С первых же слов он сказал мне: «Необходимо своевременно приготовить аграрную программу. В 1905 г. было аграрное движение—у нас не было программы; в 1906 г. у нас была программа—не стало аграрного движения. Необходимо подготовиться к новым крестьянским выступлениям».

Дальше в разговоре он сказал: «Откровенно вам скажу, еще два года нечего будет делать, в ближайшее время трудно предвидеть оживление рабочего движения». Надежда Константиновна Крупская (жена Ленина) постаралась смягчить «бестактность» Владимира Ильича: нельзя же так обескураживать человека, приехавшего с работы и возвращающегося на работу, в особенности перед пленумом ЦК (1910 г.), на котором принимались все меры к усилению партийной работы.

Слова В. И. оказались пророческими. Рабочее движение стало расцветать в конце 1911 г., ровно через два года.

А. Рябинин

Осенью 1910 года

(Из заграничных впечатлений).

Осенью 1910 года для работы в геологических музеях Европы и отправился за границу.

В Париж попал уже в октябре.

Я знал, что В. И. Ульянов (Н. Ленин) в Париже и, воспользовавшись пребыванием там же близко его знавшей З. П. Кржижановской, оправился к нему вместе с нею для того, чтобы увидеть его вблизи, поговорить с ним, если удастся, а также получить от него, как от члена Бюро II Интернационала, интересовавшие меня отчеты о рабочем и социалистическом движении за 1907—1910 г.г., представленные на только что прошедший в Ко-

пентагене (28 августа—3 сентября) VIII Международный Социалистический Конгресс.

Владимир Ильич жил в то время, если не изменяет мне память, где-то вблизи площади Данфер-Рошера, на которой высится прекрасный памятник национальной зашиты 1870 года—«Лион де Бельфор».

Скоро мы были в скромной квартире Владимира Ильича, состоявшей чуть-ли не из двух маленьких комнат, с крошечной кухней, при чем в квартире помещалась, кроме самого Владимира Ильича и его жены, Н. К. Крупской, также и мать последней.

Более чем скромная обстановка квартиры, с минимальным количеством мебели, книги на полу и на столе, покрытом газетой,—все это создавало очень знакомое впечатление русского интеллигентского обихода. Все обитатели квартиры были дома и приняли нас радушно.

Владимир Ильич, которого я раньше встречал только мимоходом, сразу напал на меня с расспросами о крестьянском движении в России. Напомню, что в 1910 году еще продолжалась у нас самая жестокая реакция после 1905 года, премьером был П. А. Столыпин и усиленно проводилась его реформа по насаждению хуторского хозяйства.

На мой взгляд, эта реформа, будучи весьма тяжелой при неразмежеванности и всяком неустройстве и ведущая в первые дни проведения ее в жизнь к обеднению крестьянства, сама по себе пользовалась у крестьян успехом. Владимир Ильич надеялся именно на нее, провидел недовольство крестьянской бедноты и возможность крестьянского восстания в ближайшее время. Помню, как он был задет за живое, когда у меня невольно вырвалось: «Да вы чудак, Владимир Ильич!».

— Ах, так я чудак?—и он невольно насторожился,—да вы не меньшевик-ли?

Пришлось разуверять его в этом. Однако, мирный тон беседы нарушен этим инцидентом не был. Мне ясно теперь, что у Владимира Ильича были в то время планы,—ведя агитацию среди крестьян на почве хуторской реформы, выяснить им весь паллиативный смысл ее и, быть может, уже тогда бросить в крестьянскую массу земельные лозунги 1917 года.

Затем мы толковали об «отзовистах», стремившихся прекратить рабочее представительство в Государственной Думе путем отозвания с.-д. членов Государственной Думы, с чем приходилось тогда сражаться большевикам и сражаться именно в Париже, где ютились тогда приверженцы этой несчастной, и как-будто, радикальной идеи.

Как это ни странно, но здесь, в маленькой парижской квартирке, реакция, царившая в России, уже не чувствовалась; за последнее время у Владимира Ильича опять наладилась обширнейшая и самая усиленная переписка с русскими организациями партии, требовавшая постоянной зашифровки и расшифровки писем, в чем деятельной и неустанной помощницей Владимира Ильича являлась Надежда Константиновна. Весьма любопытно, что это обстоятельство не укрылось и от матери Н. К., никогда не входившей близко в революционные дела В. И., но которая заболитливо жаловалась З. П. Кржижановской:

— Опять Володушка принялся за писание писем в Россию, опять что-нибудь скоро будет.

И, действительно, уже с 1911 года начался подъем революционной волны и в самой России. Остальное известно.

Владимир Ильич весьма любезно удовлетворил мою просьбу об отче-

тах Конгрессу, давши мне записку, кажется, к секретарю Интернационала Гюисмансу в Брюсселе, и мы распрощались.

В Брюсселе я зашел в секретариат Интернационала, помещавшийся в Народном Доме, и без труда устроил все дело. Для безопасности отчеты мне переслали в редакцию с.-д. газеты «Тюомиес» («Рабочий») в Финляндию, и на обратном пути, заехав в Гельсингфорс, я получил их и беспрепятственно привез в Петербург.

И вот теперь, в нынешнем Ленинграде, перебирая папку отчетов в заграничной зеленой папке, с черными холщевыми завязками, содержащую «Отчеты с 1907—1910 о рабочем и социалистическом движении, представленные международному социалистическому Конгрессу в Копенгагене», я вспоминаю Париж и маленькую квартирку Ульяновых и уже навсегда ушедшего от нас Владимира Ильича.

Г. Зиновьев

Ленин и заграничный большевистский центр¹⁾.

Всероссийская конференция большевиков, которая состоялась в Праге в начале 1912 года, имела громадное значение для нашей партии. Ей бесспорно принадлежит одна из важнейших страниц в истории большевизма. После нескольких лет тягчайшей контр-революции, на конференции в Праге большевизм впервые заново собрал свои силы во всероссийском масштабе, окончательно сжег за собой мосты, соединявшие его ранее с меньшевизмом, и заложил прочные основы большевистской тактики на весь предреволюционный период. Узы единства и полудействия, связывавшие нас с меньшевиками вплоть до самого 1912 г., сковывали развитие большевизма. Этот груз единства или полудействия с меньшевиками был гириями на ногах у нашей партии. Пражская конференция радикально покончила с этим положением. С этого момента перед каждым сознательным рабочим встал окончательный факт: в России существуют две рабочие партии—революционная рабочая партия большевиков и «столыпинская» рабочая партия ликвидаторов.

На этой знаменательной конференции в Праге в числе других важнейших решений было принято решение приступить к изданию ежедневной газеты в Петрограде. В этом смысле Пражская конференция является восприимчивой газетой «Правда». Пражская конференция, можно сказать, стояла у колыбели первой ежедневной рабочей газеты.

Ко времени Пражской конференции в Петрограде уже издавалась «Звезда»—орган, которому принадлежит почетнейшее место в истории рабочей печати. Без всякого преувеличения можно сказать, что «Звезда» сыграла в истории большевизма такую же славную роль, как в свое время «Искра» при создании партии. «Звезда» выходила сначала раз в неделю, а затем стала выходить два и даже три раза в неделю. Самое деятельное участие в ней принимал тогдашний заграничный большевистский центр, в который входили тов. Ленин, Надежда Константиновна Ульянова—Крупская, Л. Б. Каменев и пишущий эти строки. «Звезда»

¹⁾ «Ленин и заграничный большевистский центр»—статья из № 98 газеты «Правда» от 5 мая 1922 года.

являлся вначале органом блока большевиков и меньшевиков-партийцев (Плехановцев). Г. В. Плеханов в это время переживал некий ре-
 нессанс. Ренегатство меньшевиков-ликвидаторов оттолкнуло от них
 этого выдающегося человека, в котором проснулось,—увы, не надолго,—
 чувство старого революционного бойца. Это был последний замах
 крыльев старого орла. Через короткое время солнце окончательно закатилось
 для Г. В. Плеханова, и он оказался в последние годы своей жизни в
 рядах самых отъявленных социал-патриотов. Уже через несколько номе-
 ров «Звезды» гегемония в этой газете все больше стала склоняться на
 сторону большевиков. На стороне Плеханова в Петрограде было не-
 сколько интеллигентно-литераторов (Н. Иорданский и др.), на нашей
 стороне—рабочие организации. Наш перевес был несомненен. Через ко-
 роткое время «Звезда» стала органом открыто большевистским.

На конференции в Праге впервые, как мы уже сказали, практи-
 чески был поставлен вопрос об издании ежедневной рабочей газеты в
 Петрограде. Помню первые разговоры об этом в кругу наиболее влия-
 тельных делегатов Пражской конференции с нами, членами тогдашнего
 заграничного большевистского центра. Из числа бывших делегатов Праж-
 ской конференции, ныне являющихся крупными партийными деятель-
 ми, назовем т.т. Оржаникидзе (Серый), Серебрякова (Ерема), П. Залуц-
 кого, Догадова, Воронского. Если не ошибаемся, на конференции при-
 сутствовали также Голощекин («Филипп») и ныне покойный Спандарьян
 («Сурен»). Особенно убежденным энтузиастом издания ежедневной га-
 зеты выступал тов. Воронский. Многие из нас к тому времени относились
 к возможности издания такой газеты довольно скептически. Не было
 ни средств, ни литературных сил в Петрограде, ни сколько-нибудь серь-
 езной уверенности в том, что царское правительство потерпит существо-
 вание такой газеты. Однако, с напряжением всех сил и при мобилиза-
 ции всех наших финансовых ресурсов, мы наскребли сумму в несколь-
 ко тысяч рублей и решились сделать опыт.

Нет никакого сомнения в том, что царское правительство прево-
 сходно было осведомлено о нашем решении приступить к изданию ле-
 гальной ежедневной газеты. На конференцию в Праге удалось проник-
 нуть целым трем провокаторам: Малиновскому, Ромагову (Москвич) и
 Шурканову (бывший член Государственной Думы). Если правительство
 допустило издание «Правды», то это не столько потому, что оно созна-
 тельно надеялось выиграть в своей двойной игре, но, думается, потому,
 что могучая волна рабочего движения, поднявшаяся особенно высоко
 после Ленских дней, вынуждала правительство на частичные уступки.

Как бы там ни было, а то, на что мы так мало надеялись в Праге,
 осуществилось через самое короткое время после Пражской конферен-
 ции. В Праге же было решено, что заграничный большевистский центр
 переселится поближе к России. После первых же номеров «Правды» мы
 решили переехать из Франции в Краков (Галиция). Сначала туда пе-
 реехали т. Ленин, Надежда Константиновна и пишущий эти строки, за-
 тем на время из Парижа приехал туда же и т. Каменев, который вскоре
 уехал в Петроград, главным образом, для работы в «Правде». В Галиции
 наш большевистский центр пробыл до самого начала империалистиче-
 ской войны и принял самое деятельное участие в издании «Правды».
 Мы жили всего в нескольких верстах от тогдашней русской границы.
 Часто на велосипедах доезжали мы почти до самой пограничной по-
 лосы. Во всяком случае, в Галиции мы чувствовали себя несравненно
 ближе к России, чем это было, когда мы жили во Франции.

В это время в России начинается серьезнейшее оживление в революционном рабочем движении, усиливающееся, можно сказать, с каждым месяцем. Но чем больше растет влияние большевизма, тем яростнее репрессии со стороны царского правительства. Постоянное существование нелегального Центрального Комитета в России почти невозможно. В лучшем случае удастся в Петрограде иметь бюро ЦК, состоящее из 2—3 человек. Фактически главной базой Центрального Комитета в это время был Краков. Нелегальные приезды в Краков были сравнительно легки. Целый ряд выдающихся деятелей нашей партии побывал в это время в Кракове: Сталин, Бухарин, Г. И. Петровский, Лашевич, Вадаев, Медведев, Киселев, Глебов-Авиллов, Крыленко, покойная Арманд, Сафаров, Розмирович, Муранов, покойный Яковлев и многие, многие другие товарищи. В Галиции у нас произошли две всероссийских конференции, имевшие очень большое значение для судеб нашей партии.

Здесь выработывалась избирательная тактика большевиков при выборах в четвертую Государственную Думу. Здесь писались десятки речей для наших депутатов в Государственной Думе—рабочих-большевиков, которые в начале своей деятельности нуждались в такой помощи. Отсюда велась Надеждой Константиновной громадная организационная переписка, связывавшая заграничный большевистский центр с десятками самых выдающихся работников нашей партии в России.

Отсюда же большевистский центр фактически направлял газету «Правда». Сначала робко, а потом все более и более смело и открыто стали мы посылать десятки статей в нашу «Правду». Постепенно дело дошло до того, что каждый день из Кракова или Поронина (небольшая деревушка, где мы жилали летом) отправлялось по шести, а то и по восьми статей, которые в общем доходили весьма аккуратно и иногда составляли добрую половину материала, заполнявшего «Правду». Работа эта была поистине увлекательна. Мы положительно жили «Правдой». С громадным нетерпением ожидали в Кракове каждого номера «Правды». Все прочитывалось нами взасос до последней заметки. С величайшей тщательностью Владимир Ильич изучал, например, список денежных сборов, отчеты которых помещались в «Правде». На основании этих отчетов подсчитывалось число рабочих групп в Петрограде и по всей России, поддерживающих большевиков. Работой в «Правде» тов. Ленин сильнеешим образом увлекся и ушел в нее с головой. Старались не отставать и другие работники тогдашнего заграничного большевистского центра. Связь с Петроградом окрепла. Порой нам казалось, что мы принимаем почти что непосредственное участие в петроградской работе, по крайней мере, столь же близко, как в те времена (конец 1906 и начало 1907 года), когда большевистский центр пребывал в Терикоках, в 30 верстах от Петрограда. Когда начались первые большие легальные собрания в Петрограде, мы, члены заграничного большевистского центра, следили за ними с захватывающим вниманием. Помню первый крупный бой большевиков с меньшевиками при выборах правления союза металлистов в Петрограде. Из Поронина членами большевистского центра был написан ряд предвыборных статей. Из Галиции следили мы за перипетиями избирательной борьбы. Вечером произошли выборы, а под утро на следующий день тов. Ленин уже имел из редакции «Правда» телеграмму, радостно извещавшую нас об одержанной победе.

Газета «Правда», с первых же дней ее существования, как известно, писалась, по крайней мере наполовину, петроградскими рабо-

чими. В этом отношении крайне интересно сравнить «Правду» с большевистскими газетами в период 1905 года. Взгляните, в самом деле, на «Новую Жизнь», выходившую в Петрограде в 1905 г., и сравните ее с «Правдой» 1912 г. или, тем более, 1917 года. В «Новой Жизни» (1905 г.) мы видим рядом с большевистскими писателями таких литераторов, как Минский, Теффи и т. п. Рядом со статьями лидеров большевиков—большие статьи и литературные фельетоны таких столпов нынешней буржуазно-«демократической» реакции, как названные выше литераторы. Не то «Правда». Здесь мы сразу имеем классический тип чисто пролетарской газеты. От буржуазно-демократической к социалистической революции—вот путь, пройденный Россией с 1905 по 1917 г. «Новая Жизнь» 1905 г. и «Правда» 1912—17 г.г. ярко отразили эту эволюцию. Две вехи.

Без всякого преувеличения: «Звезда» и «Правда» подняли целый новый пласт рабочих и воспитали целое поколение передовых пролетариев, которые составляют и сейчас основу нашей партии и нашей государственной власти.

Громадная масса лучших петроградских рабочих, воспитанных «Звездой» и «Правдой», рассеяна сейчас по всей России на разнообразнейших руководящих партийных, советских, профессиональных и хозяйственных постах. Тысячи и десятки тысяч этих питомцев «Звезды» и «Правды», начиная с 1917 года, пошли в «бродячую» Советскую Русь, стали главными работниками Красной армии, строителями Советской власти в деревнях, уездах и т. д. Но все же не одна тысяча таких передовиков, воспитанных «Звездой» и «Правдой», осталась и поныне в Петрограде. И сейчас крайне интересно отметить следующее. Когда в связи с недавней партийной чисткой и петроградская организация особенно тщательно изучала свой личный состав и анализировала чуть ли не каждого более старого члена нынешней петроградской организации, все товарищи единодушно отмечали тот факт, что главными работниками нынешнего красного Петрограда является именно поколение рабочих, вошедших в партию в 1911, 1912 и 1913 г.г.—в годы, когда главным нашим штабом была «Правда». И все товарищи без исключения отмечали тот факт, что среди этого поколения рабочих, воспитанных «Правдой», гораздо более квалифицированных и подготовленных партийных и советских деятелей пролетариев, чем даже из среды рабочих, которые участвовали в партии в 1905 году. Поколение, воспитанное «Правдой», как-то жизненнее, как-то ближе к действительности, чем даже иные из самых передовых рабочих, участвовавших в партии в 1905 году.

В 1912—1914 г.г. «Правда» была поистине главным штабом русского рабочего движения и главной лабораторией партийной мысли. Рамки цензуры сначала раздвигались слабо, а затем мы научились их обходить. Каких только вопросов не поднимала тогдашняя «Правда». В конце концов, дело дошло до того, что почти все наши боевые политические кампании тогдашний заграничный большевистский центр, который фактически был тогда Центральным Комитетом партии, чуть ли не целиком проводил через легальную «Правду». Рабочие научились схватывать налету каждое слово, каждый намек, каждый лозунг, выраженный самым «эзоповским» языком. Какое счастье работать в такой газете и чувствовать такую связь с читателем-пролетарием, какую имели тогдашние сотрудники «Правды». Без дальних слов, без длинных разглагольствований писатель и читатель-рабочий понимали друг друга в миг. Как зе-

мля, истрескавшаяся после долгого летнего зноя, впитывает благодатный дождь, так и проснувшаяся к новой жизни рабочая масса проглатывала «Правду». Вспоминается первый «день печати», если не ошибаемся, в первую годовщину издания «Правды». Какой это был праздник для всех работников Правды и, в частности, для тогдашних заграничных сотрудников ее, проживавших в Галиции и деливших с «Правдой» все ее горести и радости. Десять лет прошло с тех пор. За это время пережито не мало великого, но впечатления тогдашних дней все еще так свежи, непосредственны и милы...

Кроме товарищей, непосредственно руководивших делом в Петрограде, как т. т. М. С. Ольминский, покойная К. Н. Самойлова, Еремеев, Молотов-Скрябин, Давилов (Степан Степанович), Данский, Гладнев, Сосновский, Батурин, Васильевский, Раскольников и многие другие, «Правде» крайне много помогли наши депутаты: Г. И. Петровский, Бадаев, Самойлов, а в первое время особенно Н. Г. Полетаев. На газету сыпались штрафы за штрафами и репрессии за репрессиями, но от этого она только становилась все популярнее среди рабочих. Мы, грешные члены тогдашнего заграничного большевистского центра, также были не мало повинны в этих штрафах. Изю всех сил мы, разумеется, старались писать по форме, как можно более умеренно, «ценаурно», но это нам удавалось плохо. Нам каждый раз казалось, что мы обошли все рифы и подводные камни и усыпили бдительность цензора, но, увы, мы ошибались в этом отношении слишком часто. Больше всех осторожности проявлял тов. Ленин, но и за его статьи «Правде» частенько приходилось расплачиваться не дешево. Шутя, мы упрекали друг друга, чья статья обошла дорожку, давали зарок впредь никогда не писать так неосторожно, а назавтра—история повторялась.

Перед самым началом империалистической войны, летом 1914 года, в Поронине было решено предпринять большую работу: разбить по категориям все рабочие корреспонденции, напечатанные в «Правде», изучить по материалам «Правды» все прошедшие кампании: за 8-часовой рабочий день, сборы на рабочую печать, стачки, демонстрации и т. п. С этой целью большевистская думская «шестерка» прислала в Поронин тов. Тихомирного («Виктор»), этого слишком рано скончавшегося, подававшего большие надежды товарища, который также в свое время не мало поработал в «Правде». Вся черновая работа была уже проделана. Но к этому времени грянула война, которая оборвала жизнь «Правды» и перебрала заграничный большевистский центр из Галиции в Швейцарию.

В 1912—1914 г. г. «Правда» играла роль главного партийного центра: вокруг нее группировались все силы, она была осью всей партийной деятельности. Такую же роль «Правда» сыграла в 1917 году, в особенности с апреля по июль, когда четыре страницы маленького формата «Правды» были как бы насыщены электричеством, и когда каждый номер нашей тогдашней маленькой газеты был большим политическим событием. Ныне исполняется 10 лет со времени выхода первого номера «Правды» в Петрограде. За последние годы, когда партия взяла всю власть в стране в свои руки, роль партийной печати уже не является столь всеобъемлющей, как это было в предыдущие годы. К десятой годовщине «Правды» пожелаем нашей печати одного: чтобы неустанной работой она отвоевала для себя такую же прочную, тесную, неразрывную, интимную связь с самыми широкими рабочими массами, какую имела «Правда» в 1912—1914 и в 1917 г. г.

Еще и еще раз отдадим наши силы на то, чтобы привлечь к непосредственной работе в нашей партийной печати самих рабочих. Добьемся того, чтобы наша газета, не мудрствуя лукаво и не гоняясь за образцами органов «высокой» европейской политики, сумела стать простым, бесхитростным отображением действительной жизни трудящихся масс и старшим товарищем, руководителем этих масс в их тяжелой борьбе. В нынешнее переходное время, в эпоху, которая до известной степени является эпохой распутия, наша партийная печать, хорошо поставленная и тесно связанная с массой, могла бы и должна была бы занять особо выдающееся место в жизни рабочих. В десятую годовщину рабочей печати освежим славные традиции старой «Правды», сумеем проложить себе такую же широкую дорогу в самую гущу пролетарских масс, как это сумела в свое время сделать старая «Правда».

Пусть нынешняя наша партийная печать упорной работой отвоюет себе такое же почтенное место, какое занимала старая «Правда» в каждой рабочей семье. Это будет лучшей данью уважения старой «Правде».

Ф. Самойлов

Воспоминания большевика-депутата 4-й Государ. Думы.

(1914—1917 г.г.).

В первый раз мне пришлось встретиться с В. И. Лениным в Кракове, в январе 1914 года. В это время я был членом 4-й Государственной Думы от рабочих Владимирской губернии.

Взявшись за непривычную, исключительно головную работу рабочего депутата, тяжелую, благодаря многочисленным, бесперывным заседаниям и всяким совещаниям (заседания Думы, фракций и всякие партийные собрания), стоившим многих бессонных ночей, я через несколько месяцев заболел слабостью легких, бессонницей и ослаблением всего организма настолько сильно, что никаким лечением местными российскими средствами болезнь не поддавалась. И вот, по предложению находившегося тогда в Кракове Центрального Комитета нашей партии, 19 января 1914 года. (ст. ст.) я выехал в Краков, чтобы при помощи ЦК попробовать полечиться за границей.

Когда я приехал в Краков и явился по имевшемуся у меня адресу на квартиру Владимира Ильича Ленина, меня встретила Надежда Константиновна и сообщила мне, что В. И. дома нет и что он придет дня через два-три (он был тогда по каким-то делам, кажется, в Лейпциге), поэтому я должен был его подождать. Надежда Константиновна была со мной очень предупредительна и расспрашивая о партийных делах в Петрограде и других местах России, старалась в то же время не утомлять меня, делая большие перерывы в беседе. Эту ночь я переночевал в квартире Владимира Ильича.

Утром явились т.т. Л. В. Каменев и Г. Зиновьев и переселили меня в какую-то гостиницу, в одну комнату с тов. А. А. Трояновским. Каменева и Зиновьева я видел тогда в первый раз, и как перед членами ЦК, широко известными как большие партийные работники-вожди, сначала я чувствовал некоторую понятную робость, но после первой же

краткой беседы с ними, в их обществе я уже чувствовал себя совершенно свободно и в ожидании В. И., дня три-четыре под ряд, виделся с ними ежедневно и беседовал на разные интересовавшие нас темы о партийной работе. Но при мысли о предстоящей встрече с В. И., мною все-таки овладевала некоторая робость: мне почему-то казалось, что он-то уже, конечно, совсем особенный и наверное строгий, требовательный и т. д. И одна его наружность, по моим предположениям, должна была внушать робость и даже некоторую боязнь и т. д. За три-четыре дня ожидания его, я мысленно старался приготовиться как можно серьезнее и деловитее рассказать ему все, что я знал о партийных делах в России.

Но когда, наконец, приехал В. И., и я с ним встретился, то оказалось, что и на этот раз я ошибся и, пожалуй, даже еще более сильно ошибся, чем это было в отношении т.т. Каменева и Зиновьева. В. И. оказался еще более простым, доступным и близким товарищем, а его наружность не только не внушала никакого страха и т. д., а, наоборот, показала мне наружностью обыкновенного, простого, русского человека, сильно располагающего к себе всякого именно этой простотой, и только глаза В. И. показались мне далеко не обыкновенными: в них горел какой-то особенный огонек, который от времени до времени, казалось, пронизывал меня насквозь, проникая в самую душу.

В обхождении со мной В. И. не проявил ни особой важности вождя и главы партии и никакой особенной строгости в расспросах о партийных делах в России, а, поздоровавшись, в первую голову подробно расспрашивал о моем здоровье, а потом уже задал ряд вопросов о работе нашей думской с.-д. фракции, о положении партработы на местах и пр. Как и Надежда Константиновна, очень боялся меня утомить и, делая большие паузы в нашей беседе, советовал говорить как можно меньше и на вопросы отвечать короче. Стараясь ободрить меня, говорил, что в смысле лечения будут приняты все меры, и мы, мол, вас постараемся вылечить во что бы то ни стало, только не падайте духом, и т. д.

В первый же день своего приезда В. И. позвал находившегося тогда в Кракове тов. Богудкого (недавний представитель Российского Красного Креста в Швейцарии), и мы с ним отправились к какому-то профессору. Осмотрев меня, профессор посоветовал ехать в Швейцарию, и я скоро был отправлен в Берн, к тов. Шкловскому, который должен был устроить все, что требовалось для моего лечения. Г. Л. Шкловскому Владимиром Ильичем было предписано вылечить меня во что бы то ни стало: «Самойлов, мол,—партийное имущество, и в случае его растраты вся ответственность ляжет на вас, бернских товарищей». И тов. Шкловский усердно и заботливо делал все, что от него зависело, по части моего лечения.

В Швейцарии я пробыл несколько месяцев и за это время часто переписывался с В. И. В своих письмах В. И. справлялся, главным образом, о ходе моего лечения и давал советы меньше думать о делах, ни о чем не заботиться и все внимание уделять лечению, сообщал иногда и некоторые политические новости. Писем этих у меня было порядочно, но, к сожалению, все они погибли во время нашего ареста в Петрограде в ноябре 1914 г. (были сожжены нами вместе со многими другими материалами).

В июле я начал чувствовать себя довольно сносно и подумывал уже ехать обратно в Россию, но в это время разразилась империалистическая война и сильно этому помешала.

Германская и австрийская границы были закрыты и, прежде чем ехать, нужно было долго выяснять—какие еще имеются пути, по которым можно было бы добраться до России. В это время, вместе с тов. Шкловским, его семьей и Ф. Ильиным, я находился в дачном местечке Лайзиген. Однажды на имя тов. Шкловского от ЦК из Австрии была получена телеграмма с просьбой выслать некоторую сумму денег (кажется, 800 фр.). У меня имелись деньги в виде полученного мною от тов. Бадаева перед началом войны моего депутатского жалования, и мы с тов. Шкловским послали В. И. телеграфом 500 фр.

И эта посылка совершенно для нас неожиданно послужила одной из причин разыгравшейся, очень необычной для тогдашней Швейцарии,—следующей истории. Через несколько дней после отправки денег, рано утром, когда я еще спал, я был разбужен криком с улицы, в котором мне слышалось, что кто-то по-русски называет меня и жившего рядом со мной тов. Ильина по имени. Поднявшись с кровати и накинув наскоро костюм, я подошел к окошку и увидел там Д. З. Шкловскую, жену Г. Л. Шкловского. Оказалось, что это кричала она с целью разбудить нас. На мой вопрос, в чем дело, что случилось, она сообщила, что этой ночью приехавшими на автомобиле из Берна полицейскими арестован Г. Л. Шкловский, и что она собралась ехать в Берн, чтобы выяснить, в чем дело, каковы причины ареста и т. д., и просила нас пойти к ним. Мы быстро оделись и отправились к Шкловским, и там Д. З. дополнительно сообщила нам, что представители власти после обыска без всякого объяснения причин посадили Г. Л. Шкловского в закрытый автомобиль и спешно увезли в Берн.

На Швейцарию я тогда смотрел, как на «самую свободную страну», в которой были невозможны никакие насилия над личностью граждан, и уже, конечно, никаких незаконных, «без объяснения причин» арестов ожидать там я не мог, а тут вдруг—родная российская картина... Будучи не в состоянии понять, в чем дело, я успокаивал себя тем, что «тут какое-нибудь недоразумение», но факт оставался фактом. И авторитет «свободнейшей в мире швейцарской демократии» с этого момента у меня начал сильно падать.

В Берне полицеймейстером тогда были известный социал-демократ, и Д. З. Шкловская направилась к нему за разъяснениями, а я в ожидании ее возвращения остался с их детьми. Ждать пришлось довольно долго. До Берна было несколько десятков верст. Я сидел на крылечке квартиры Шкловских с ребятами, а в это время мимо крылечка то и дело проезжали на велосипедах какие-то невиданные еще там мною типы. От времени до времени типы эти, подъезжая совсем близко к крылечку, самым бесцеремонным и наглым образом подробно рассматривали мою фигуру. Это было очень подозрительно, но я все-таки никак не мог остановиться на мысли, что это были «шпики», ибо никак не мог забыть, что нахожусь в «демократической Швейцарии»: Это во-первых, а во-вторых,—такой наглости шпииков я даже в родной России никогда не видал, даже там они, следя за нашим братом-революционером, старались по возможности это делать так, чтобы мы их не замечали. А тут подъезжают почти вплотную и смотрят прямо в лицо, хоть плюй им в рожу.

К вечеру вернулась Д. З. Шкловская. Она была у полицеймейстера, и там выяснилось, что Г. Л. Шкловский за п о д о з р е н в ш п и о н а ж е в пользу России, что поводом к этому подозрению послужила наша переписка с В. И. При этом оказывалось, что, кроме нашей денежной по-

сылки, одним из поводов к аресту Шкловского послужила еще перехваченная полицией, посланная В. И. на имя Шкловского же, вторая телеграмма, в которой В. И. предлагал срочно снестись с Парижем (с находившимися там товарищами Г. Беленьким и др.) на предмет срочного напечатания противвоенных листовок. Дальше выяснилось, что Г. Л. Шкловский скоро будет освобожден.

Действительно, Шкловский на другой же день снова явился в Лайпиген. В тюрьме он просидел всего около суток, после чего шпики исчезли и у квартиры больше не появлялись.

В это же время были арестованы тов. К. А. Комаровский (Данский), его знакомый, прибывший с ним в Берн откуда-то из другого швейцарского города, и еще один знакомый Шкловского—Леонтьев, бывший раньше в одной из российских губ. вице-губернатором, а тогда живший в Швейцарии в качестве «опального», вследствие того, что его дочь—эсерка, покушаясь на какого-то из тогдашних русских царских палачей-сатрапов в Швейцарии, убила по ошибке похожего на этого сатрапа швейцарца и, заболев по этой причине психически, находилась в одной из швейцарских лечебниц для душевно-больных. Все трое арестованы были только за то, что во время ареста Шкловского случайно зашли к нему на квартиру в Берне; после освобождения Шкловского они скоро также были освобождены.

Дальше выяснилось, что меня тоже собирались арестовать, но не решились на это ввиду моего депутатского звания, боясь некоторого рода «дипломатических осложнений». Позднее стало известно, что Владимир Ильич нашей посылки не получил, ему только было сообщено, что «на его имя имеется какое-то почтовое отправление, но что ему, как подданному воюющей державы, оно выдано быть не может».

Между тем, события развивались быстро. Когда вожди социалистических партий воюющих стран изменили Интернационалу, среди российской с.-д. эмиграции в Швейцарии это вызвало большой переполох, и среди нее стали определяться две диаметрально противоположные позиции. Плеханов, Алексинский и другие стали на оборонческую позицию, а большевики, во главе с Владимиром Ильичем, заняли свою непримиримую, так называемую «пораженческую позицию». В это время я был уже снова в Берне, где тогда был и Владимир Ильич Ленин. Он тогда только что приехал из Австрии, где перед этим был арестован, как подданный воюющей державы, но, просидев в тюрьме около двух недель, при содействии австрийских соц.-дем. (Виктора Адлера и, кажется, еще Дашинского, члена парламента, пе-пе-эсовца) он был освобожден и ему, как известному вождю левого крыла российской социал-демократии, даже и во время войны остававшемуся попрежнему на самой непримиримой позиции в отношении тогдашнего царского правительства, было разрешено (если бы он пожелал) проживать в Вене, но он, конечно, этого не пожелал.

С ним мне приходилось ежедневно встречаться у Шкловских, которые организовали для нас обеды. Помню, в лесу, за Берном, тогда был устроен ряд собраний, на которые собирались человек 10—15 эмигрантов-большевиков (помню, там бывали т.т. Шкловские, Сафаров, Каспаров, В. И. Ленин, Н. К. Крупская и некоторые др.). На этих собраниях и выяснялась и устанавливалась окончательно наша позиция в отношении к происходившим тогда мировым событиям. В первую голову на них выступал Владимир Ильич, подробно развивая свою точку зрения и

доказывая, что всякие разговоры о защите отечества есть шовинизм, и всякая помощь правительству в войне—есть измена рабочему классу, что нам необходимо использовать все военные затруднения нашего правительства для самой решительной борьбы с ним, что нужно вести агитацию за превращение империалистической войны в войну гражданскую во всем мире, что рабочим всех воюющих стран необходимо направить оружие войны против своих буржуазий и правительств и т. д. Выступали Шкловский, Сафаров и др. Я был только на первых двух из этих собраний, и при мне однажды тов. Г. Л. Шкловский попытался возражать Владимиру Ильичу и, заявив перед тем, как начать свою речь: «я буду все-таки защищать шовинизм», он дальше говорил о том, что в случае победы Германия может явиться не менее опасным врагом и палачом европейской демократии и рабочего класса, чем царская Россия и т. д., и что поэтому позиция использования затруднений военного времени для решительной борьбы с нашим царским правительством, в своем конечном результате, может принести также большой вред и российскому и международному рабочему движению в борьбе его за свое окончательное освобождение и т. д. Владимир Ильич в ответной речи разбил его так основательно и решительно, что Г. Л. Шкловский скоро изменил совершенно свой взгляд в этом вопросе.

В Берне, в бытность там Владимира Ильича, мне пришлось пробыть недели две. В это время он был озабочен вопросом о посылке выработанных уже тогда им известных тезисов ЦК о войне и, при его помощи, преодолев все имевшиеся препятствия к поездке в Россию, мы с тов. Комаровским в конце августа через Италию и Балканские государства выехали в Россию и повезли с собой врученные нам Владимиром Ильичем вышеупомянутые тезисы, которые, спустя недели три, и были нами доставлены по назначению, а еще месяца через два отобраны у нас, членов с.-д. фракции 4 Государственной Думы, при налете полиции на наше совещание в окрестностях Петрограда. Тезисы эти послужили главным обвинительным материалом по нашему делу.

Следующая моя встреча с Владимиром Ильичем была уже в апреле 1917 г., приблизительно через месяц после моего возвращения из Сибири в Петроград. В первый раз после длинного перерыва я увидел Владимира Ильича на Финляндском вокзале, когда он только что прибыл в Россию, в тот момент, когда он произносил свою первую речь с броневика. Это был исключительный момент. Стоя на броневике, окруженном целым лесом красных знамен и многотысячной толпой, сбравшейся встретить его, Владимир Ильич в первый раз тогда произнес слова о гражданской войне, которые сразу же оттолкнули от него всех социал-шовинистов, почувствовавших в нем своего непримиримого врага.

Утром на другой день я встретился с Владимиром Ильичем в Таврическом дворце, когда он с большой группой товарищей шел на первое со времени его приезда в Петроград большевистское совещание. Поздоровавшись, заботливо осведомился о здоровье и высказал удовольствие по поводу того, что я сравнительно легко перенес тюрьму и ссылку и посоветовал не обращаться к врачам из наших партийных товарищей.— «Они могут быть хорошими товарищами и политиками, но врачи они в подавляющем большинстве плохие. Вы лучше идите к какому-нибудь буржуазному профессору, это будет лучше, они—специалисты, им только нужно дать хорошую плату и они будут лечить хорошо»,—говорил Владимир Ильич. Потом мы обменялись несколькими словами на разные

злободневные темы. Он был хорошо настроен и весь кипел энергией и решимостью отдать все силы на служение революции.

Я был на упомянутом большевистском собрании и слушал доклад Владимира Ильича о задачах революционного пролетариата в происходившей революции, в котором он, между прочим, говорил о срочной необходимости, решительно отмежевавшись от всех социал-шовинистов, «сбросить с себя грязное белье», изменив самое название нашей партии. Помню, как в том же Таврическом дворце в тот же день Владимир Ильич повторил эту свою речь в зале заседаний на собрании большевиков и меньшевиков. Меньшевики сначала слушали его молча, потом им уже стало, повидимому, невтерпеж и послышались отдельные шиканья и возгласы, а под конец, даже свист. Мы тоже начали немного шуметь, отвечая на реплики меньшевиков возгласами, что мы, мол, ваших руководителей выслушиваем, слушайте же и вы нашего вождя.

С ответными речами выступали Дан, Церетели и другие. Дан резко полемизировал с Владимиром Ильичем, а Церетели говорил в том духе, что, несмотря на наши большие расхождения с товарищем Лениным, я все-таки еще надеюсь, что нам удастся с ним сговориться; думаю, мол, что наша совместная работа с Владимиром Ильичем возможна и т. д.

После этого собрания некоторые из знакомых меньшевиков, встречаясь со мной, смеясь, задавали ядовитые вопросы вроде: «Ну, как? вы уже больше не социал-демократы и даже не социалисты вообще, а коммунисты, долой, значит, социал-демократсв?» и т. д.

Помню еще одно заседание нашего Центрального Комитета. Это было около 10 апреля 1917 года, т. е. в первые же дни после приезда Владимира Ильича в Петроград, когда между некоторыми членами ЦК, с одной стороны, и Владимиром Ильичем—с другой, были некоторые разногласия по вопросу о характере происходившей революции. На заседании присутствовали: Владимир Ильич, Сталин, Каменев, Шляпников, Стасова, кажется, еще Милютин или Теодорович, точно не помню, я и некоторые другие. В порядке дня был вопрос о характере революции. Спор шел, главным образом, между Владимиром Ильичем, с одной стороны, и Л. Б. Каменевым и Шляпниковым—с другой. Спорили долго и горячо. Владимир Ильич решительно и с большим подъемом защищал свою точку зрения, что происходившая революция в конечном счете должна превратиться в пролетарскую и привести к диктатуре пролетариата и беднейшей части крестьянства, а Л. Б. Каменев с этим не соглашался и высказывал мнение, что революция наша пока только буржуазно-демократическая и проч. Помню, возражал Владимиру Ильичу и А. Г. Шляпников и в своей речи обронил выражение вроде того, что вас, мол, Владимир Ильич, надо немного бы придержать за фалды, вы хотите двигать события слишком быстрым темпом и т. д.

Когда Ильич возражал на это Шляпникову, он был подобен грозному урагану и, быстро ходя взад и вперед по комнате, что называется, «метал громы и молнии». Смысл его речи сводился приблизительно к тому, что удержать его за фалды никому не придется, что грядущие события этого не позволят сделать, что пролетариат должен стать у власти и станет вопреки всем желающим удержать его от этого. Точку зрения Владимира Ильича на этом собрании, кажется, разделял тов. Сталин. Других не помню, а тов. Л. Б. Каменев остался при своем особом мнении, которое и обещал изложить в печати.

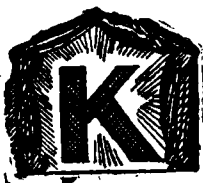
ХІ ВОЙНА





Я. Ганецкий

Владимир Ильич в галицийской тюрьме



огда вспыхнула в 1914 году всемирная война, закипело и в отдаленном уголке Галиции, в горной местности Закопане и окрестностях.... Объявлена была мобилизация, каждые несколько часов появлялись грозные предписания военных властей; мобилизованные крестьяне сгонялись в ближайший уездный городок Новый Торг. Одновременно была организована казенная агитация за войну против «зарвавшегося дикого москаля, угрожающего лишить нас нашей свободы, культуры» и т. п..

В период 1912—14 годов Владимир Ильич и тов. Зиновьев жили в Галиции. Зимой В. И. жил в Кракове, а на лето уезжал под Закопане, в деревню Поронин. Жил там и я. Помню один «митинг», на который я пробрался. Присутствующие: аптекарь, мясник, почтальон, какой-то военный и местный жандарм, произносили пламенные речи в пользу «оборонительной» войны и в защиту дорогой австро-венгерской монархии.

В течение нескольких дней только и слышно было, что то здесь, то там замечали подкрадывающегося шпиона, но, к сожалению, его не удавалось поймать...

Бешеная шовинистическая агитация и привела к аресту Владимира Ильича.

7-е августа. Вечер. Проливной дождь. Настроение угнетенное. Застряли мы в этом захолустье, от своих оторваны, почта из России уже не приходит. Читаешь лишь буржуазную прессу. Полна она ликования, — восхваляет войну, восхваляет бойню.

Вдруг на велосипеде появляется Владимир Ильич. Спокойный, но заметно смущение. Рассказывает приблизительно следующее:

«Только что у меня был обыск. Производил здешний жандармский вахмистр. Приказал утром явиться к поезду и поехать с ним вместе в Новый Торг к старосте...¹⁾ Обыск был довольно поверхностный. Дурак, всю партийную переписку оставил, а забрал мою рукопись по аграрному вопросу. Статистические таблицы в ней принял за шифр... Хорошо, что переписки не взял. Были там и адреса, и другие конспиративные вещи... А жаль рукописи: не закончена, не затерялась бы... Да в хламе нашел какой-то браунинг, — я не знал даже, что имеется... Как думаете, арестуют завтра в Новом Торге или отпустят?»

Краковская полиция хорошо знала Владимира Ильича и не могла

¹⁾ Староста — начальник уезда.

сомневаться, что Владимир Ильич даже во время войны останется непримиримым врагом царизма. (Что Владимир Ильич может вести агитацию за борьбу против войны в каждом государстве в отдельности, до этого краковская полиция, да и австрийское центральное правительство не дозрели). Когда в 1912 году Владимир Ильич решил из Парижа переехать в Краков, чтобы быть ближе к России, мы нащупывали почву через с.-д. депутатов и выясняли, не угрожает ли ему опасность быть выданным царским жандармам. Австрийские власти успокоили нас, и только тогда Владимир Ильич переехал вместе с тов. Зиновьевым. Краковская полиция имела их постоянно на-чеку, убежденная, что у Владимира Ильича генеральный штаб российской революции, что он в австрийские дела не вмешивается,—и успокоилась.

Но это Краков и Вена. Поронин и Новый Торг—другое. Чиновники здесь уж совсем ограничены. Могут арестовать. Тогда суд и расправа—дело плевое. Мы долго совещались с Владимиром Ильичем и выработали следующий «план действий»: я даю телеграмму в Краков с.-д. депутату, д-ру Мареку, который с властями вел переговоры до приезда В. И. Владимир Ильич дал тут же следующую телеграмму в дирекцию полиции:

«Здесьняя полиция подозревает меня в шпионаже. Живу два года в Кракове, в Звезжинце ¹⁾, № 51, ул. Любомирского. Лично давал сведения комиссару полиции в Звезжинце. Я эмигрант, социал-демократ. Прошу телеграфировать Поронин и старосте Новый Торг во избежание недоразумений. У л ь я н о в ²⁾».

Кроме того, мы условились, что если Владимир Ильич не возвратится на следующий день из Нового Торга ближайшим поездом в час дня, то придется энергично действовать, ибо, очевидно, он арестован.

Все следующее утро я волновался и с нетерпением ждал прибытия поезда. Приедет или не приедет? Внутренний голос нашептывал второе, и я все больше нервничал. Утром получил ответ от Марека, что им предприняты соответствующие шаги, и что телеграфировал одновременно старосте в Новый Торг. Телеграфист, добрый малый, видя мое волнение, сознался мне, что пришла телеграмма от директора полиции к жандарму и рискнул мне ее показать. Телеграмма поясняет всю абсурдность обвинения Ильича в шпионаже. В копии послана она и в Новый Торг. Все хорошо, но пока не увижу Ильича, меня ничто не может успокоить. Уже с 12 часов торчу на вокзале. Время медленно двигается вперед. Я раздражен до-нельзя. Не могу без отвращения смотреть на довольные рожи разгуливающих военных. Тут появляется Надежда Константиновна. Как всегда, она внешне спокойна, но я чувствую, что она волнуется не меньше моего. Мы молчим. Наконец, медленно подезжает поезд. Жандарм тут, Ильича нет. Я начинаю успокаивать Надежду Константиновну, говорю о телеграммах, уверяю, что недоразумение скоро выяснится, и Ильич будет освобожден. Я сам не верю собственным словам. Прощаюсь с Надеждой Константиновной и заявляю, что сегодня еще попытаюсь добраться в Новый Торг.

Задача эта не легкая. Поездов больше нет, да и вообще из района деревни без особого разрешения удаляться нельзя. Как быть? Иду к

¹⁾ Район Кракова.

²⁾ Телеграмму эту, равно и протокол со сведениями комиссару, о чем речь в телеграмме, я размыкал во время моей последней поездки в Польшу. Документы эти сданы в Институт В. И. Ленина.



Надежда Константиновна Крупская,
жена В. И. (фотография 1905 г.).



Владимир Ильич в 1920 году.



Тюрьма в Новом Торге (Галиция),
в которую В. И. был заключен
в августе 1914 г., когда началась
империалистическая война.



Камера в Новоторжской тюрьме,
в которой сидел В. И.

жандарму. Начинаю говорить об Ильиче. Он подтверждает, что Ильич арестован.—За что,—спрашиваю.—Заподозрили в шпионаже. Время сейчас весьма серьезное, началась война. Он—русский. Я получил сообщение, что он ходит по окрестным горам и делает снимки с дорог. Кроме того, при обыске я нашел у него целые таблицы цифр, которые, очевидно, являются шифром. Не мое дело разбираться в этом, и я передал Ульянова старосте, который сделает с ним, что будет считать нужным

Нечего было с ним больше разговаривать. Австрийский жандарм точь-в-точь похож на царского. «Ходит по горам и делает снимки с дорог»... Какое стратегическое значение имеют тропинки в горах в заброшенной деревушке? Владимир Ильич часто разгуливал на солнышке перед своим домом. Он, гуляя, читал книгу и делал в ней пометки. Отсюда легенда о «снимках дорог». Жандармский дурак так же не в состоянии был различать статистические таблицы в научной рукописи от шифра. Нет, с ним нечего разговаривать. Староста—человек по-серьезнее, поумнее. У него я скорее ликвидирую недоразумение.—Я в таком случае поеду сейчас к старосте—дайте мне пропуск.—За этим вам надо обратиться к войту.

Через час у меня уже пропуск в руках, наняты лошади, и я мчусь по направлению в Новый Торг. По дороге заехал я к Надежде Константиновне, чтобы успокоить ее.

Резиденция старосты, как повсюду в уездных городах, на рыночной площади. Нахожу «секретаря».

— Где староста, мне необходимо немедленно с ним поговорить.

— По какому делу?—получается спокойный ответ.

— Сюда привезли из Поронина некоего Ульянова. Я опасаясь, что его арестуют. Тут крупное недоразумение, и я должен лично со старостой это выяснить.

— Да, действительно, его привезли к нам, и староста посадил его в тюрьму, передав дело в суд. Наверяд ли староста вас примет. Он очень занят и весьма у нас нервный. Советую вам не показываться ему на глаза, а то и с вами может случиться неприятность. А вот и староста идет!

В двери показался рослый мужчина с необыкновенно глупым лицом, быстро направляющийся с большим криком через другую дверь в свой кабинет. Не теряя ни секунды, я бегом к нему.

— Господин староста,—успел сказать ему в дверях.

Он прихлопнул двери, закричав:

— Что это за наглость вламываться без разрешения в мой кабинет!

Открываю двери и решительно говорю:

— Господин староста, я прихожу по весьма и весьма важному делу, и вы должны меня немедленно выслушать. Вы только что арестовали Ульянова. Вы не отдаете себе отчета в вашем решении. Вы арестовали известного в мире вождя российской революции. Как такого человека можно заподозрить в шпионаже? Вы должны его немедленно выпустить.

— Как вы смеете делать мне подобные указания? А вы кто такой?

— Я... гражданин Поронина и являюсь к вам с протестом от всех видных граждан Поронина и Закопаня. Все мы стыдимся по поводу ареста его и настаиваем на его освобождении. Как можно видного социал-демократа заподозрить в шпионаже? Нам стало известно, что вы получили телеграмму от директора полиции в Кракове и от депутата парламента Марека...

Имя Ульянова, его псевдоним—Ленин—хорошо известны и в Вене. Наверяд ли Вена одобрит ваше поведение. Я еще раз советую освободить его, иначе у вас будут неприятности...»

Староста как-будто теряется, приглашает меня сесть.

— Телеграммы эти я действительно получил. Как это вы все уже знаете? Но ни директор полиции, ни Марек мне не указка. Сейчас война, я облечен военными полномочиями и должен действовать по-военному. Помилуйте, на следующий день после объявления войны между Австрией и Россией русский подданный делает с'емки дорог, и у него находят шифры—как же его не арестовать? Вы это сами должны одобрить. То, что он социал-демократ—это ничего не значит. Социал-демократы всегда выступают против монархов и против войны. Сейчас военное время и надо бы закрыть парламент.

— За кем он сейчас числится? Кто может дать мне какие-либо раз'яснения?

Староста оказался не умнее жандармского вахмистра. Иду к председателю уездного суда—тот направляет меня к «члену суда, Пашковскому, которому поручено ведение этого дела.

Через дорогу мне указывают домик, где я могу найти Пашковского.

На улице уже темно. Темно и в домике. Только в одном окне виден свет. Замечаю в окне решетки—неужели это канцелярия тюрьмы? Становлюсь на пальцы—и тут замечаю лысину дорогого Ильича, а возле него за столом двух важных субъектов. «Очевидно, допрос»,—подумал я.

Стучу в дверь—закрыта, не открывают. Я вторично, познергичнее. Щелкнул замок—высовывается голова.

— Чего вы стучите?

— Здесь судья Пашковский?—у меня к нему весьма важное дело.

— Он здесь, но сейчас очень занят и вас принять не может. Приходите завтра.

— Я знаю, чем он занят: он допрашивает Ульянова, и именно по этому делу я должен с ним немедленно поговорить. Меня к нему направил староста.

Замок опять щелкнул, и появился Пашковский. Я ему приблизительно повторил все сказанное старосте—показал телеграмму Марека и просил совета, как действовать. Пашковский оказался приличным человеком, и мы с ним скоро могли договориться.

— Я сразу понял, что дело дутое. Я теперь начал допрашивать г-на Ульянова, и этот человек весьма меня заинтересовал. Видно, человек весьма умный, создает впечатление благородного, и никак его нельзя заподозрить в шпионаже. Наш староста такой нервный и раздул дело. Ведь он передал дело одновременно в военный суд. Военные будут решать, и это уже весьма серьезно. Советую вам немедленно поехать в Краков и там энергично действовать.

Пашковский обещал мне в тот же вечер закончить допрос и на следующий день послать свое заключение прокурору. Обещал также утром дать свидание с Ильичем Надежде Константиновне. На прощанье он обещал мне, что допрос поведет лишь формально, попросит Ильича написать свою биографию¹⁾.

Мы разговаривали в дверях. Я старался говорить погромче, чтобы Ильич услышал мой голос и узнал, таким образом, что мы «действуем».

¹⁾ К сожалению, этот допрос, как и все следственное дело, послаац был в Вену. Истиа тут решил принять меры и разыскать весь этот материал.

Уже поздно вечером я возвратился в Поронин. Первым делом заехал к Надежде Константиновне. Рассказал ей все, просил быть готовым к 10 часам утра, ибо тогда поедем на свидание. Сообщил также об определенном моем решении поехать в Краков. Надежда Константиновна спокойно все выслушала. Просила лишь не говорить об аресте бабушке¹⁾.

Утром в 10 часов мы уже с Надеждой Константиновной на крестьянской телеге едем в Новый Торг. Пашковский сейчас же нас принял и велел вызвать из камеры Владимира Ильича.

Появился Владимир Ильич. Был взволнован. Не знал, на каком языке обратиться к Надежде Константиновне,—судья не понимает ведь по-русски.

Прощаясь с Ильичем, я сказал, что обязательно раздобуду разрешение на поездку в Краков и буду следить за делом. Владимир Ильич сообщил мне, что слышал вчера мой голос, понял, что я нарочно говорил громко, что Папковский, возвратившись от меня, любезно вел себя. Ильич говорил нам, что чувствует себя вполне хорошо, много читает, просил прислать целую кучу книг и успокаивал Надежду Константиновну, что скоро будет дома.

Надежда Константиновна ездила к Ильичу каждый день.

Как быть с моей поездкой в Краков? В эти дни ходили только поезда для военных. Частным лицам почти не давали разрешений, каковые выдавались за личной подписью корпусного начальника.

Разрешение на поездку в Краков и на право пользования воинским поездом я скоро получил, и на следующий день поехал в Краков.

В течение 2-х дней я бродил по всевозможным учреждениям и бесчисленным канцеляриям. Дал также телеграмму старнику Адлеру, который об аресте уже знал и предпринял соответствующие шаги. Повсюду получил заверения, что Ильич будет освобожден, но необходимо провести все формальности, на что понадобится еще несколько дней. Распоряжения давались по телеграфу и телефону, и 19 августа Владимир Ильич был освобожден.

Из раздобытых сейчас разных документов (все они будут опубликованы в «Ленинском Вестнике») я убедился, как быстро и энергично действовали все власти, чтобы поскорее освободить Владимира Ильича.

Но Ильич не особенно доверял австрийским властям, как и всем другим буржуазным. Еще будучи в тюрьме, на свидании, он говорил мне: «Недостаточно освободить из тюрьмы. Я здесь ни в коем случае оставаться не могу. Следует во что бы то ни стало добиться разрешения для меня и Зиновьева. Для нас опасно оставаться в воюющей стране».

Опасность угрожала не только со стороны правительства за революционную антивоенную работу. Угрожала и со стороны темного населения. На днях Надежда Константиновна в разговоре со мной вспоминала, как местные крестьянки, возвращаясь в одно воскресенье из костела, где ксендз на проповеди призывал к расправе с москалями, гово-

¹⁾ Бабушка—Елизавета Крупская, мать Надежды Константиновны,—тогда уже глубокая старушка. Бабушка не расставалась со своей „любимой Надей“ и всю эмиграцию пробыла вместе с ней. Весьма теплое, трогательное было отношение Владимира Ильича к бабушке; умерла во время войны, в Швейцарии.

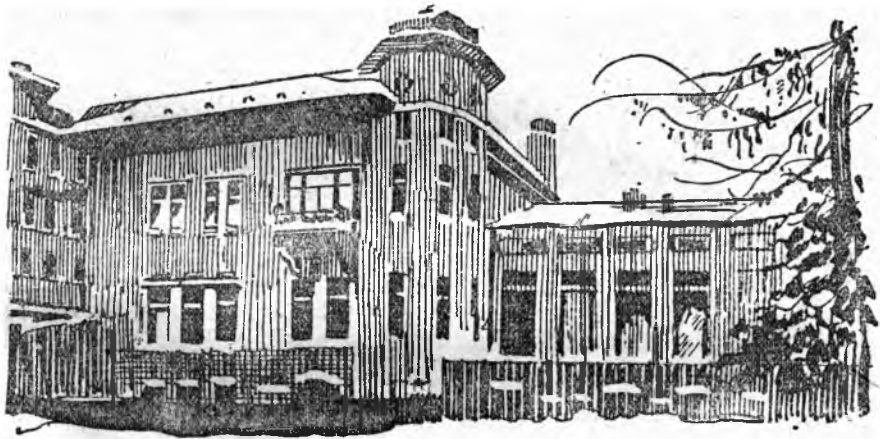
рили между собой вслух о Владимире Ильиче, что когда этого шпиона выпустят, то нужно будет ему глаза выколоть, язык вырезать и т. п.

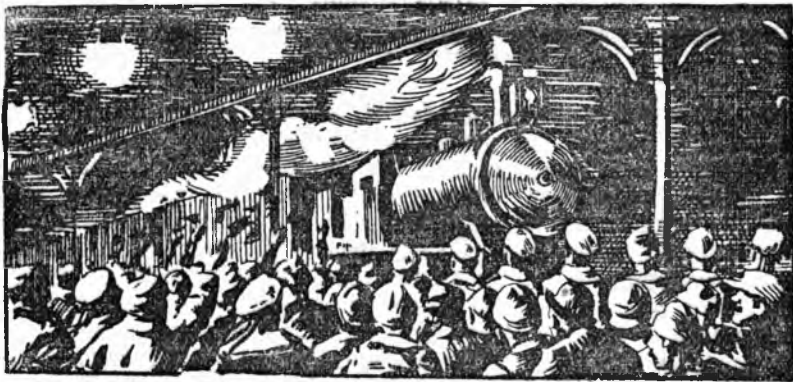
Итак, 19-го августа Владимир Ильич был освобожден из тюрьмы, а через несколько дней вместе с Надеждой Константиновной и бабушкой через Краков и Вену направился в Швейцарию, где с удесятеренной энергией ковал новый меч для российской революции, а через нес и для революции всемирной.



XII

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ





Н. Крупская

Из эмиграции в Питер



Последнюю зиму (1916—1917 г.) мы жили в Цюрихе. Жилось невесело. Рвалась связь с Россией: не было писем, не приезжали оттуда люди. От эмигрантской колонии—очень немногочисленной, впрочем в то время в Цюрихе—мы держались, по заведенному обычаю, немного в стороне. Только каждый день, идя из эмигрантской столовой, забежал на минутку Гриша Усевич, милый, погибший потом на фронте молодой товарищ. По утрам довольно регулярно приходил к нам «племянник Землячки», сошедший с ума на почве голода, большевик. Он ходил до такой степени оборванный и забрызганный грязью, что его перестали пускать в швейцарские библиотеки. Он старался заставить Ильича, чтобы что-то обсудить с ним, какие-то принципиальные вопросы, и приходил до 9 часов, пока еще Ильич не ушел в библиотеку. Так как эти интервью с сумасшедшим человеком приводили обычно к тому, что погом болело «все на свете», как выражалась одна знакомая девчурка, то мы стали уходить до библиотеки погулять вдоль озера. Мы занимали комнату в швейцарской рабочей среде. Комната была не очень целесообразная. Старый мрачный дом, стройки чуть ли не XVI столетия, окна можно было отворять только ночью, так как в доме была колбасная, и со двора нестерпимо несло «гнилой колбасой». Можно было, конечно, за те же деньги получить гораздо лучшую комнату, но мы дорожили хозяевами. Это были заправские рабочие, не навивевшие капитализм, инстинктивно осуждавшие империалистическую войну. Квартира у нас была, поистине, «интернациональная»: в двух комнатах жили хозяева—по профессии столяр и сапожники,— в одной—жена немецкого солдата-булочника с детьми, в другой—какой-то итальянец, в третьей—австрийские актеры, с изумительной рыжей кошкой, в четвертой—мы, россияне. Никаким шовинизмом не пахло, а однажды, во время того, как мы с хозяйкой поджаривали в кухне на газовой плите кажлая свой кусок мяса, хозяйка возмущенно воскликнула: «Солдатам надо обратить оружие против своих правительств!» После этого Ильич и слышать не хотел о том, чтобы менять комнату, и особо ласково раскланивался с хозяйкой.

К сожалению, швейцарские социалисты были настроены менее революционно, чем жена рабочего. В. И. попробовал одно время повести работу в интернациональном масштабе. Стали собираться в небольшом кафе „Zum Adler“, на ближайшей улочке: несколько русских и польских

большевиков, швейцарские социалисты, кое-кто из немецкой и итальянской молодежи. На первое собрание пришло что-то около 40 человек. Ильич изложил свою точку зрения на войну, на необходимость осудить вождей, изменивших делу пролетариата, излагал программу действий. Иностранная публика, хотя собралась интернационалисты, была смущена решительностью Ильича. Помню речь одного представителя швейцарской молодежи, говорившего на тему, что стену нельзя пробить лбом. Факт тот, что наши собрания стали таять, и на четвертое собрание явились только русские и поляки. Пошутили и разошлись по домам. Впрочем, к этому времени относится возникновение более тесной связи с Фрицем Платтенем и Вилли Мюнценбергом.

Помнится мне одна сценка из несколько более позднего времени. Забрели мы однажды в другую, более фешенебельную, часть Цюриха и неожиданно наткнулись на Нобса, редактора цюрихской социалистической газеты, ходившего тогда в левых. Нобс, завидя Ильича, сделал вид, что хочет сесть в трамвай. Ильич все же захватил его и, крепко держа за пуговицу, стал излагать свою точку зрения на неизбежность мировой революции. Комична была фигура незнавшего как улизнуть от неистового русского левого оппортуниста Нобса, но фигура Ильича, судорожно сжимавшего пуговицу Нобса и стремившегося его распропагандировать, показалась мне трагической. Нет выхода колоссальной энергии, гибнет безвестно бесконечная преданность трудящимся массам, ни к чему ясное осознание совершающегося. И почему-то вспомнился мне белый северный волк, которого мы видели с Ильичем в лондонском зоологическом саду и долго стояли перед его клеткой. «Все звери с течением времени привыкают к клетке: медведи, тигры, львы,—объяснил нам сторож.—Только белый волк с русского севера никогда не привыкает к клетке—и день и ночь бьется о железные прутья решетки». Разве пропагандировать Нобса не значило биться о прутья репетки?..

Мы собирались уходить в библиотеку, когда пришел т. Бронский и рассказал нам о февральской революции. Ильич как-то растерялся. Когда Бронский ушел, и мы несколько опомнились, мы пошли к озеру, где под навесом каждый день расклеивались все швейцарские газеты. Да, телеграммы говорили о революции в России.

Ильич метался. Он попросил Бронского разузнать, нельзя ли как-нибудь через контрабандиста пробраться через Германию в Россию. Скоро выяснилось, что контрабандист может довести только до Берлина. Кроме того, контрабандист был как-то связан с Парвусом, а с Парвусом, нажившимся на войне и превратившимся в социал-шовиниста, В. И. никакого дела иметь не хотел. Надо искать другого пути. Какого? Можно перелететь на аэроплане, не беда, что могут подстрелить. Но где этот волшебный аэроплан, на котором можно донестись до делающей революции России? Ильич не спал ночью напролет. Раз ночью говорит: «Знаешь, я могу поехать с паспортом немого шведа». Я посмеялась. «Не выйдет, можно во сне проговориться. Приснятся ночью кадеты, будешь сквозь сон говорить: сволочь, сволочь. Вот и узнают, что не швед». Во всяком случае, план ехать с паспортом немого шведа был более осуществим, чем лететь на каком-то аэроплане. Ильич написал о своем плане в Швецию Ганецкому. Но из этого, конечно, ничего не вышло. Когда выяснилось, что при помощи швейцарских товарищей можно будет получить пропуск через Германию, Ильич сразу взял себя в руки и старался обставить дело так, чтобы ничто не носило характера самомалейшей сделки не только с германским правительством, но и с немецкими социал-шовинистами, ста-

рался все юридически оформить. Шаг был смелый не только потому, что грозила клевета, обвинение в измене отечеству, но и потому, что не было никакой уверенности, что Германия действительно пропустит, а не интернирует большевиков. Потом, следом за большевиками, двинулись тем же путем и меньшевики и другие группы эмигрантов, но сделать первый шаг никто не решался. Когда пришло из Берна письмо, что дело улажено и можно двинуться оттуда в Германию, Ильич сказал: «Поедем с первым поездом». До поезда оставалось два часа. Я усомнилась: надо было ликвидировать «весь дом», возратить книги в библиотеку, расплатиться с хозяйкой и т. п. «Поезжай один, я приеду завтра». «Нет, поедем». «Дом» был ликвидирован, уложены книги, уничтожены письма, отобрано кое-какое бельишко и самые необходимые вещи. Мы уехали с первым поездом. Мы могли и не спешить так, так как была Пасха, и из-за этого вышла какая-то задержка с нашей отправкой.

В бернский народный дом стали съезжаться едущие большевики: ехали мы, Зиновьевы, Усневичи, Инесса Арманд, Харитонов, Сокольников, Миха Цхакая и т. п. «Поезжай один, я приеду завтра». «Нет, поедем». «Дом» был ликвидирован, уложены книги, уничтожены письма, отобрано кое-какое бельишко и самые необходимые вещи. Мы уехали с первым поездом. Мы могли и не спешить так, так как была Пасха, и из-за этого вышла какая-то задержка с нашей отправкой.

Во всю дорогу мы ни с кем из немцев не разговаривали; около Берлина в особое купе сели немецкие с.-д., но с ними никто из наших говорить не стал, и только Роберт, заглянув к ним в купе, стал их допрашивать: „Ze conducteur, qu'est-ce qu'il fait“. Не знаю, ответили ли немцы Роберту, что делает кондуктор, но своих вопросов большевикам им так и не удалось предложить. Мы смотрели в окно вагона, и нас поражало полное отсутствие мужчин: одни женщины, подростки и дети, и в городе, и в деревне. Нам давали обед в вагон—котлеты с горошком. Очевидно, желали показать, что в Германии всего в изобилии. Проехали благополучно.

В Стокгольме нас встретили речами, в зале вывесили красное знамя и устроили собрание. Как-то плохо помню Стокгольм: все мысли были уже в России. На финских вейках переехали границу. Было уже все милое, свое—плохопьяные вагоны третьего класса, русские солдаты. Ужасно хорошо было. Немного погодя Роберт уже очутился на руках какого-то пожилого солдата, обнял его ручонкой за шею и что-то лопотал по-французски и ел творожную пасху, которой кормил его солдат. Наши прильнули к окнам. На перронах станций, мимо которых проезжали, стояли гурьбой солдаты. Усневич высунулся в окно. «Да здравствует мировая революция!»—крикнул он. Недоуменно посмотрели на едущих солдаты. Мимо нас прошел несколько раз бледный поручик, и когда мы с Ильичем перешли в соседний пустой вагон, подсел к нему и заговорил с ним. Поручик был оборонцем, Ильич защищал свою точку зрения—был тоже ужасно бледен. А в вагон мало-по-малу набирались солдаты. Скоро набился полный вагон. Солдаты становились на лавки, чтобы лучше слышать и видеть того, кто так понятно говорит против грабительской войны. И с каждой минутой росло их внимание, напряженнее делались их лица.

В Белоострове нас встретили Мария Ильинична, Шляпников, Сталь и другие. Были работницы. Сталь все убеждала меня сказать им несколько приветственных слов, но у меня пропали все слова, я ничего не могла сказать. Товарищи сели с нами и стали рассказывать. Скоро мы приехали в Петер.

Петерские массы, рабочие, солдаты, матросы встречали своего вожда. Как узнали они о нем? Не знаю. Кругом народное море, стихия.

Тот, кто не пережил революции, не представляет себе ее величественной, торжественной красоты.

Красные знамена, почетный караул из кронштадтских моряков, рефлекторы Петропавловской крепости, освещающие путь от Финляндского вокзала к дому Кшесинской,—броневики, цепь из рабочих и работниц, охраняющая путь. Ильич встал на броневик. Он что-то говорит, а кругом те, кто ближе ему всех на свете,—народные массы.

Революционный народ одинаково торжественно и встретил своего вождя, и проводил его в могилу.

В. Бонч-Бруевич

Встреча вождя

Минуты томительного ожидания тянулись слишком долго. И вот, наконец, завиднелись в туманной дали огоньки. Вот вмейкой мелькнул на повороте ярко освещенный поезд. Вот ближе и ближе... Вот застучали колеса, забухал, запыхтел паровоз и остановился...

Мы бросились к вагонам. Из пятого вагона от паровоза выходил Владимир Ильич, за ним Надежда Константиновна, Зиновьев, еще и еще товарищи...

— Смирр-но... — понеслась команда по почетному караулу, по воинским частям, по рабочим вооруженным отрядам, на вокзале, на площади... Оркестры заиграли приветствие и все войска взяли «на караул».

Мгновенно стихли человеческие голоса, только слышны были голоса труб оркестра, и потом вдруг, сразу, как бы все заколебалось, встрепнулось и грянуло такое мощное, такое потрясающее, такое сердечное «ура», которого я никогда не слыхивал...

Владимир Ильич, поздоровавшись и расцеловавшись с нами, не выдавшими его почти десять лет, двинулся было своей торопливой походкой, но, когда грянуло это «ура», приостановился и, словно немного растерявшись, спросил: «что это?»

— Это приветствуют вас революционные войска и рабочие,—кто-то сказал ему.

Мы подходили к матросам.

Офицер со всей выдержкой и торжественностью больших парадов, рапортовал Владимиру Ильичу, а тот недоуменно смотрел на него, очевидно, совершенно не предполагая, что все это так будет.

Я шепнул ему, что матросы хотят слышать его слово.

Он сделал несколько шагов по фронту почетного караула, который так лихо и торжественно встречал своего вождя, остановился, снял шляпу и произнес приблизительно следующее:

— Матросы, товарищи, приветствуя вас, я еще не знаю, верите ли вы во все посулы Временного Правительства. Но я твердо знаю, что, когда вам говорят сладкие речи, когда вам многое обещают—вас обманывают, как обманывают и весь русский народ. Народу нужен мир, народу нужен хлеб, народу нужна земля. А вам дают войну, голод, бесхлебье, на земле оставляют помещика... Матросы, товарищи, нам нужно бороться за социальную революцию, бороться до конца, до полной победы пролетариата. Да здравствует всемирная социальная революция!

И он двинулся далее, по шеренгам и рядам, в «царские» комнаты, где его приветствовали представители Петроградского Исполкома. Это приветствие, исходившее по обязанности от соглашателей-меньшевиков, было весьма кислое, официальное, явно лицемерное... Все они прекрасно чувствовали, что с прибытием Владимира Ильича начнется настоящая борьба, не прикрытая какой-либо льстивой, хитрой фразой, а прямая, честная, открытая, — достойная классово-борьбы пролетариата.

Лишь только Владимир Ильич вышел на под'езд вокзала, лишь только заметили его, как грянуло вновь всепокрывающее, потрясающее «ура», перешедшее в под'емное ликование народных, рабочих и красноармейских масс. Когда, наконец, массы затихли, Владимир Ильич тут же, с крыльца, произнес новое приветствие к собравшимся, подчеркивая все те же моменты, что и в первой своей речи к матросам, все время говоря о социальной революции.

Броневая команда предложила ему войти в броневик, на котором они хотели доставить его в Петроградский Комитет большевиков.

Окруженный тысячами толпами рабочих, над которыми реяли бесчисленные знамена, Владимир Ильич медленно шествовал на броневике во главе этой своеобразной, самолично из недр петроградского пролетариата вылившейся импозантной, громадной демонстрации. Во время пути Владимир Ильич несколько раз должен был говорить речи к народу, который не уставал его слушать, жаждал его слов. Наконец, все эти массы прибыли к помещению нашего петроградского партийного Комитета.

Владимир Ильич, с несколько надорванным голосом, усталый и, видимо, взволнованный всей этой встречей, которой он не ожидал, расположился немножко отдохнуть, расспрашивая всех о событиях, работе, об организации...

Толпы народа требовали речей. Ряд товарищей выступал с балкона. Владимир Ильич тотчас же пересел поближе, желая, очевидно, послушать, с чем обращаются к народу наши агитаторы. Слушал очень внимательно, иногда одобрял, иногда, улыбаясь, говорил свое любимое словечко: «гым! гым!», что означало, что это неверно, это сомнительно, это не так... Но когда выступил один крайне нервный, почти истерически настроенный товарищ и стал истошным голосом взывать к толпе, призывая ее к немедленному восстанию и горюдя бесконечные анархические фразы без всякого реального содержания, Владимир Ильич спросил:

— Кто это выступает?

Ему сказали.

— И это тоже большевик? — с усмешкой спросил он.

А тот, точно желая всем особенно понравиться, размахивая изо всех сил руками, крича совершенно иступленным голосом, извиваясь и вертясь, все более и более нагромождая один призыв на другой, громил, уничтожал, призывал, побеждал...

— Нет, это невозможно... — сказал Владимир Ильич, — его надо сейчас же остановить... Это какая-то левая чушь... — заключил неожиданно он...

Оратора с трудом, наконец, остановили, и он, изнемогающий, вошел в ту комнату, где был Владимир Ильич, жажда и крепко надеясь получить высокое одобрение...

Владимир Ильич молчал, и в комнате воцарилась неловкая тишина.

Оратор не выдержал и, обтирая пот, струившийся с его затылка и лба, скороговоркой обратился к Владимиру Ильичу:

— Ужасно много работы... Вот в день раз по двадцать приходится так выступать...

— Раз по двадцать?.. Гм...—произнес Владимир Ильич и улыбнулся.—Нет, товарищ, напрасно вы так себя мучаете... Не надо... Совсем заболаете.... Поберегите лучше себя... Да и не нужно все это... Фразы, крик...

— Позвольте,—перешел в наступление сразу возбудившийся оратор,—да ведь это и есть самый настоящий большевизм, а вот они...—и он показал на стоящих здесь же товарищей,—не соглашаются со мной, даже ругают...

Владимир Ильич откачнулся на спинку кресла и весело, заразительно засмеялся.

— Ругают, говорите?. Ну, ругаться не надо. Зачем?.. Не соглашаются, говорите?... Очень хорошо... Товарищи,—вдруг деловым тоном обратился он к комитетчикам,—чем ругать его, надо ему дать немножко отдохнуть и перевести на другую работу, обязательно перевести,—отчеканил он,—там, где поменьше говорить...

И тотчас перешел в другую комнату.

Растерявшийся до большой степени самовлюбленный оратор стоял на одном месте, беспомощно разводя руками и кому-то что-то доказывая, но, когда он вскоре хотел опять двинуться к балкону, чтобы еще и еще угостить жаждущих новой порцией вспыскопускательского словесного добра, путь ему был прегражден, и товарищи рабочие твердо сказали ему:

— Довольно тебе, не нужно. Слышь, что Ильич говорит, а ты все прешь свое... Сколько раз говорили мы тебе, что этого не нужно. Ну, вот и договорился...

Совершенно разобиженный, оратор махнул рукой, ушел в другую комнату, претенциозно развалился в кресле и ожесточенно стал уминать бутерброды с колбасой, запивая их крупными глотками полуостывшего чая...

Так с первой ночи своего прибытия в Россию Владимир Ильич стал осторожно и неуклонно лечить «левые болезни», нередко, а иногда и эпидемически, охватывавшие ряды нашей партии, и в то же время выравнивая справа налево тех, кто вдруг, может быть, неожиданно для самих себя, стали похрамывать на левую ногу.

Владимиру Ильичу пришлось еще выступить этой ночью несколько раз с балкона дворца Кшесинской ко все еще не расхолодившимся толпам рабочих, жаждавшим его слова и, наконец, около пяти часов утра он уехал ночевать, вместе с Надеждой Константиновной, к своей сестре Анне Ильиничне Елизаровой.

Ф. Раскольников

Тов. Ленин и „Кронштадская республика“.

Это было 17 мая 1917 г.; как раз во время приезда в Кронштадт тов. А. В. Луначарского.

Когда мы зашли в Совет, то там обсуждался вопрос об анархистах, самочинно занявших для себя помещение на одной из лучших улиц Кронштадта. Этот поступок вызвал всеобщее возмущение. Анатолий

Васильевич потребовал слова и прочел целую лекцию об анархизме. Разумеется, он отмежевывал идейных анархистов от тех лиц, которые самовольно, помимо местного Совета, захватывают квартиры, но, в общем, его речь была проникнута миролюбием и содержала в себе призыв к попытке полюбовного соглашения. В виду того, что нужно было торопиться на Якорную площадь, где был назначен митинг, с участием тов. Луначарского, мы ушли из Совета, не дождавшись конца заседания.

Следующим пунктом порядка дня значился параграф о комиссаре Временного правительства Пепеляеве. Последний был довольно безличным человеком, вел замкнутый образ жизни в четырех стенах своего кабинета и не имел абсолютно никакого влияния на ход политической жизни Кронштадта, кипевшего тогда в огне революции.

В виду этого, вопрос о Пепеляеве, как не имевший серьезного значения, совершенно не привлек нашего внимания. Мы полагали, что обсуждение этого пункта порядка дня не выйдет из рамок частных конкретных вопросов. Уже не впервые в нашей практике, от времени до времени, происходили трения между представителем Временного правительства, олицетворявшим собою власть буржуазии Временного правительства, и Кронштадтским Советом, отражавшим интересы рабочих, матросов и солдат.

Но оказалось, что из этого обсуждения незначительного вопроса вылилось серьезное принципиальное решение, оказавшееся чреватым большими последствиями

Митинг на Якорной площади был в полном разгаре; Анатолий Васильевич с горячим воодушевлением произносил страстную речь, когда к трибуне, у которой стояли С. Рошаль и я, сквозь густую толпу протиснулись прибывавшие из Совета товарищи, которые сообщили нам новость, поразившую своей неожиданностью.

Оказалось, что после нашего ухода, при обсуждении вопроса о Пепеляеве, Советом была вынесена резолюция об упразднении должности назначенного сверху правительственного комиссара и о принятии Кронштадтским Советом всей полноты власти исключительно в свои руки ¹⁾.

Это постановление в первый момент поразило нас своим непредвиденным радикализмом. Дело в том, что в то время напа партия, выдвигавшая лозунг о переходе власти в руки Советов во всероссийском масштабе, в Кронштадтском Совете была еще в меньшинстве. Большинство составляло беспартийное «болото», шедшее за своим вождем, законченным обывателем Анатолием Николаевичем Ламановым, который одно время носился с несуразной идеей о создании «партии беспартийных». Конечно, относительное число голосов и политическое влияние большевистской фракции были значительны, особенно, когда заодно с нами голосовали левые эс-эры, но абсолютного большинства в Совете мы все-таки не имели. Поэтому, не рассчитывая на успех, мы ни разу не выступали с проектом об упразднении, за полной ненадобностью, поста правительственного комиссара. И на этот раз предложение о переходе власти к Совету исходило не от нас, а от фракции беспартийных, и наши товарищи-большевики, совместно с левыми эс-эрами, лишь поддержали расхрибавшееся «болото».

¹⁾ Вот подлинный текст этой исторической резолюции:

„Единственной властью в городе Кронштадте является Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, который по всем делам государственного порядка входит в непосредственный контакт с Петроградским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов“.

Получив это известие, мы отнеслись к нему положительно. Принятое решение мы считали, по существу, правильным.

Мы не видели в нем ничего иного, как заявление во всеуслышание о том фактическом порядке вещей, который сложился у нас в Кронштадте с первых дней февральско-мартовской революции. С самого начала у нас Совет был—все, а комиссар Временного правительства—ничто.

Едва ли еще где-нибудь в России наместник князя Львова и Керенского был в таком жалком положении, как у нас Пепеляев. В действительности, он не обладал никакой властью, а всеми судьбами Кронштадта вершил местный Совет.

На следующее утро, после принятия этой достопамятной резолюции, т. е. 18 мая, к нам в Кронштадт совершенно неожиданно приехал член ЦК Р. С.-Д. Р. П. (большевиков), молодой рабочий, тов. Григорий Федоров.

Посещение цекистов было для нас вообще большим и редким событием. В данном случае прибытие Г. Федорова, без предварительного извещения, являлось совершенно необычным.

— Что у вас тут такое произошло? В чем дело? Что означает создание Кронштадтской республики? Ц. К. не понимает и не одобряет вашей политики. Вам обоим придется поехать в Петроград для объяснения с Ильичем,—проговорил тов. Г. Федоров, мне и С. Ропалю еще в саду, примыкавшем к зданию местного партийного комитета. Посоветовавшись, мы с С. Ропалем пришли к выводу, что одному из нас необходимо остаться в Кронштадте. Было условлено, что в Питер поеду я.

Быстроходный катер доставил нас к Николаевской набережной и через некоторое время мы с Г. Федоровым уже стучали в двери редакционного кабинета газеты «Правда», помещавшейся тогда на Мойке.

— Войдите,—послышался хорошо знакомый, отчетливый голос Ильича. Мы отворили дверь. Тов. Ленин сидел, вплотную прижавшись к письменному столу, и, низко наклонив над бумагой свою голову, первым почерком бегом писал очередную статью для «Правды».

Закончив писать, он положил ручку в сторону и бросил на меня сумрачный взгляд исподлобья.

— Что вы там такое наделали? Разве можно совершать такие поступки, не посоветовавшись с ЦК? Это нарушение элементарной партийной дисциплины. Вот за такие вещи мы будем расстреливать,—принялся отчитывать меня Владимир Ильич.

Я начал свой ответ с объяснения, что резолюция о переходе власти в руки Кронштадского Совета была принята по инициативе беспартийных.

— Так нужно было их высмеять, — перебил меня тов. Ленин,—нужно было им доказать, что декларирование Советской власти в одном Кронштадте, сепаратство от всей остальной России, это—утопия, это—явный абсурд.

Я указал, что в момент решения данного вопроса руководителей большевистской фракции не было в Совете, так как они все выступали на митинге, на Якорной площади. Я детально описал Ильичу, что по существу положение, создавшееся в Кронштадте, все время было таково, что всей полнотой власти обладал местный Совет, а представитель Временного Правительства, комиссар Пепеляев, не играл абсолютно никакой роли. Таким образом, решение Кронштадтского Совета только оформляло

и закрепляло реально создавшееся положение. Факт, существовавший в повседневной практике, был превращен в постоянный закон.

— Мне все-таки непонятно, зачем понадобилось подчеркивать это положение и устранять безвредного Пепеляева, по существу служившего вам хорошей ширмой?—спросил Владимир Ильич.

Я уверил тов. Ленина, что наши намерения не преследуют своей целью образование независимой Кронштадтской республики и не идут дальше избрания Кронштадтским Советом правительственного комиссара из своей собственной среды.

— Если мы, вообще, выдвигаем принцип выборности чиновников,—говорил я,—то почему нам частично, когда это возможно, не начать этого делать сейчас? Конечно, этот выборный комиссар не может быть большевиком, так как ему, до известной степени, придется проводить политику Временного правительства. Но почему не может быть выборного комиссара вообще? Всегда найдется честный беспартийный, который мог бы выполнять такую роль. Почему мы, большевики, должны были бороться против принципа выборности комиссара, если того желает большинство Кронштадтского Совета?

Мои объяснения, видимо, несколько успокоили Ильича. Его выразительное лицо мало-помалу смягчалось.

— Наиболее серьезная опасность заключается в том, что теперь Временное правительство будет стараться поставить вас на колени,—после короткого раздумья, медленно и выразительно произнес Владимир Ильич.

Я обещал, что мы приложим все усилия, дабы не доставить триумфа Временному правительству, не стать перед ним на колени.

— Ну, хорошо, вот вам бумага,—немедленно пишете заметку в несколько строк о ходе последних кронштадтских событий,—примирительным тоном предложил мне Ильич, протягивая лист чистой бумаги.

Я тут же уселся и написал две страницы. Владимир Ильич сам внимательно просмотрел заметку, внес туда несколько исправлений и отложил ее для сдачи в набор.

На прощанье, пожимая мне руку, он попросил передать кронштадтским товарищам, чтобы на следующий раз они не принимали столь ответственных решений без ведома и предварительного согласия Центрального Комитета партии. Разумеется, я с готовностью обещал дорогому вождю строжайшее соблюдение партийной дисциплины.

Владимир Ильич обязал меня ежедневно звонить по телефону из Кронштадта в редакцию «Правды», вызывать к аппарату его самого и докладывать ему важнейшие факты Кронштадтской политической жизни.

С облегченным сердцем я возвращался в Кронштадт: было приятно, что Ильич, в конце-концов, примирился с резолюцией Кронштадтского Совета, к которой вначале он относился несочувственно. Тов. Ленин только боялся, что Временное правительство заставит нас капитулировать перед собою, что мы будем вынуждены с позором взять свою резолюцию назад. Любопытно, что тов. Ленин совсем не настаивал на отказе от резолюции, а напротив, опасался нашего отступления от нее. Наконец, до беседы со мною, Ильич, видимо, не имел точного представления о положении кронштадтских дел и о размахе наших намерений. Конечно, если бы мы стремились к образованию независимой Кронштадтской Советской Республики, то такое создание государства в государстве было бы явной утопией, ребяческой затеей. Но наши помыслы не шли дальше

выборности правительственного комиссара Кронштадтским Советом. Таким образом, сознавая свою ответственность перед избирателями, правительственный комиссар был бы вынужден считаться с местным Советом и от времени до времени делать ему систематические доклады, пользуясь его указаниями и работая под его контролем.

Очередная задача, стоявшая сейчас перед нами, заключалась в том, чтобы, с одной стороны, не дать поставить себя на колени, избежать позора капитуляции, а с другой стороны, не дать повода Временному правительству использовать данный конфликт в целях вооруженного разгрома Кронштадта. Прогноз Владимира Ильича оказался как нельзя более справедливым. Временное правительство действительно попыталось поставить нас на колени. Первая ласточка не заставила себя долго ждать.

В воскресенье, 21-го мая, Кронштадт посетила делегация Петроградского Исполкома, во главе с председателем Петросовета—меньшевиком Чхеидзе. Затем, наконец, пожаловали и более высокие гости: министры-социалисты Церетели и М. Скобелев. Во всех дипломатических переговорах, которые нам пришлось вести с этими подголосками буржуазии, мы твердо помнили завет Ильича, отстаивали революционное достоинство Кронштадта и не позволили поставить себя на колени.

Этим обстоятельством мы в значительной степени были обязаны тому же Ильичу, который с этого времени лично руководил по телефону каждым, сколько-нибудь ответственным, выступлением нашей Кронштадтской партийной организации.

И. Жариков

Ильич на Трубочном

Июль 1917 года.

Ясный, солнечный день.

Двадцатитысячная семья трубочников сгрудилась на дворе завода.

На трибуне «лидеры правительственных партий» — меньшевики и эс-эры — медовыми речами отуманивают сознание рабочих.

Говорит Скобелев. Его речь часто прерывается слушающими, не согласными с оратором.

Вдруг, как молния, пронизывают толпу слова:

— Ленин!.. Ленин!.. Ленин!

Толпа заволновалась, загудела, как встревоженный муравейник. Все повернулись туда, откуда можно ждать дорогого гостя

Минуты ожидания кажутся бесконечно длинными, Скобелева не слушают...

Минута... другая... пять...

Слышатся звуки автомобиля и пение рабочей марсельезы, все шире и ближе...

На руках, под возгласы радости, несут рабочие Ленина к заводской трибуне.

Ильич, видимо, торопясь поспеть еще куда-либо, просит у председателя митинга — меньшевика — слова.



Владимир Ильич в 1918 году.

— Отказать, — решил председатель, — так как-де много уже ораторов записалось.

Рабочие, как один, узнав об этом, запротестовали, и Ленин получает слово сразу же после говорившего Скобелева.

Помню, как сейчас, спокойную, энергичную фигуру Ильича, такую простую и великую...

Полилась плавная речь, пересыпанная едкими словечками по адресу «соглашателей». Слово за словом, по документам — газетам меньшевиков — как молотом, разбивает их ложь Ильича.

И сразу рабочие узнали своего истинного вождя и друга. Его пламенная речь глубоко запала в сердца рабочих-трубочников, и с этой минуты, можно смело сказать, что «царству социал-предателей» на заводе настал конец, — рабочие пошли за Ильичем...

С неподдающейся описанию овацией проводили Ильича с митинга рабочие.

Сколько бессильной злобы было в лицах «идейных противников», всторым Ильич предсказал скорую гибель.

Вещие слова Ильича сбылись...

*Старый большевик
с Галерного островка*

Ильич на галерном островке

Осень 1917 года. Железобетонный плац на Галерном островке.

Какая громадина. Смотришь — и конца его не видеть.

Кучка большевиков Галерного островка устроила на этом железобетонном плацу платный митинг по рублю за вход в пользу рабочей «Правды».

Около 10 тысяч билетов продали. Было гораздо больше охотников попасть на этот митинг, но больше впустить нельзя было. Боялись, что пол не выдержит.

И кого тут не было: все рабочие с нашего островка, с Нового Адмиралтейства, с Франко-Русского завода, с Гознака, с «Треугольника»...

Полные трамваи подсажали по Садовой и дальше к воротам шли уже пустые.

Что всех влекло сюда?

Еще с утра было известно, что на этом митинге выступит товарищ Ленин.

Митинг. Гробовое молчание. Слышны только слова товарища Ленина.

Он в трехчасовой речи сделал обзор текущего момента. Он говорил о предательстве вождей эс-эров и меньшевиков, плетущихся в хвосте у буржуазии, требующих «войны до победного конца».

Напч лозунг, большевиков, — продолжал он, — протянуть братскую руку фронтовикам, — рабочим и крестьянам, таким же, как и мы, чтобы совместно покончить с буржуазной войной, которая уносит жизни рабочих и крестьян и ничего не дает им взамен.

Несмолкающие аплодисменты — ответ на его речь.

Эс-эры и меньшевики побоялись выступить. Их выручил командир — офицер императорской яхты.

— Я хоть и белой кости, но все же всегда был с рабочими, — были его первые слова.

Далее он всячески доказывал, что не следует рвать с союзниками, которые так «честно» помогали и будут помогать России...

Голосовали две резолюции: первая — от большевиков, а вторая — от эс-эров и меньшевиков.

Огромным большинством прошла резолюция большевиков. Это была первая наша победа на *Галерном острове*.

До этого редкому большевистскому оратору удавалось говорить у нас. А в пехах большевиков совершенно не слушали. Так сильно было влияние меньшевиков и эс-эров у нас на заводе.

Товарищ Ленин уехал. А по мастерским долго толковали о его выступлении.

После речи Ильича быстро росли ряды большевиков на заводе. Клуб наш, до этого почти пустой, теперь стал посещаться рабочими, которые уходили из-под влияния эс-эров и меньшевиков.

Поодиночке и рядовые меньшевики и эс-эры тоже бросали своих вождей и переходили к большевикам...

Это был лучший ответ предателям.





Н. А. Емельянов

Таинственный шалаш



3-го на 4-е июля пришел ко мне товарищ Зоф и сообщил, что Центральный Комитет партии поручает мне скрыть Владимира Ильича Ленина и Григория Евсеевича у Строганова моста. 4-го я был уже в Петрограде, запасшись билетами и ожидая в условленном месте. Через некоторое время подехали в крытой карете Ленин и Зиновьев. Через несколько минут мы были уже на вокзале и, разместившись на площадке вагона, доехали до станции Разлив. Тут уже почувствовали, что миновали самые большие опасности. Через несколько минут добрались до первого логовища Владимира Ильича и Зиновьева — это чердак сарая, преобразованного в сеновал, где находились в первое время Ленин и Зиновьев.

Первое, что было сделано, — это изменение облика Зиновьева и Ленина: волосы немедленно были выстрижены. Положение не из приятных: кругом живут дачники, наслаждающиеся природой за счет трудового класса, и, естественно, что они, противники всякого рабочего движения, с удовольствием при возможности возьмут на себя миссию шпионажа.

Чердак имел свои выгодные стороны, служил прекрасным местом для ориентировки и давал значительную помощь, а именно: приезжает товарищ, спрашивает Владимира Ильича, гость отводится вглубь двора, а в это время Владимир Ильич и Григорий Евсеевич наблюдают из многочисленных щелей чердака. Затем гость оставляется полюбоваться окружающим.

Владимир Ильич дает ответ о результате своих наблюдений, и уже после подобной репетиции товарищ имеет возможность получить свидание.

Был и такой случай: приходит однажды тов. N., также сообщает, что ему необходимо уведомить Вл. Ильича, но, к несчастью, ни Владимир Ильич, ни Григорий Евсеевич не опознали товарища, он же настаивает и говорит, что ему необходимо иметь свидание; держали совет, и решено было, в случае чего, пойти на крайность, но, к счастью, оказались свои.

Но как ни прелестны условия чердака, а положение не из совсем приятных: каждую минуту мог кто-нибудь заметить, и поэтому пришлось подумывать о более безопасном месте. «Время сенокосное, а что, если Владимир Ильич и Григорий Евсеевич, под видом косарей, переселятся на сенокос», — тем более, что, после преобразования их паружности и стрижки, они были весьма похожи на таковых. Идея хорошая, и Владимир Ильич и Григорий Евсеевич ее одобрили, да и чердак-то, по всей вероятности, не особенно правился изгнапникам.

Сенокос расположен за Разливом (небольшое озеро), приблизительно вчетверо версты, да лесом около полутора верст. Тут уже атмосфера другая, нет той публики, населяющей дачные места. Она здесь редко показывается. Постоянные обитатели здесь — трудящиеся, рабочие-косари, которые не разыскивают скрывшихся вождей рабочего движения. Черлак сменился другим жилищем, — «шалашом», сделанным из веток и сверху покрытым сеном. Да, этот «шалаш» пужно было назвать «штабом революции», потому что здесь Владимир Ильич с Григорием Евсеевичем совершенно спокойно занялись работой. Рядом и кухня устроена: на колья висят котелок, греется чай. Но ночью невыносимо: надоедливые комары совершенно не дают покоя, как от них ни прячься, а они добьются своего, и нередко приходится быть искусанным, но ничего не поделаешь, — все это отлично.

Приезжали к ним товарищи, совершали чуть ли не кругосветное путешествие на всех видах транспорта: сперва по допотопной железной дороге, затем на лодке через Разлив, завершая дальнейшее путешествие пешком.

Было устроено так: приезжает какой-либо товарищ, преимущественно ночью, заходит на старую квартиру, затем оттуда его провожает сын Емельянова, Кондратий, и доставляет к шалашу. Помню, как товарищи радушно встречались, беседовали, а затем к рассвету нужно было и удалаться.

Интересный произошел эпизод с оповещением тов. З. И. Лилиной, жившей в то время около станции Тарховка: ей нужно было сообщить местонахождение Григория Евсеевича; хотя они оба жили по соседству, но тов. З. И. Лилина об этом соседстве ровно ничего не знала. Сообщить надо, но надо сделать это так, чтобы не подать тени подозрения, так как тов. З. И. Лилина жила у своих родных, имеющих прислугу, — кто ее знает, может, через посредство ее следят за каждым движением тов. З. И. Лилиной.

Решили нарядить Надежду Константиновну торговкой, специально купил курицу и в указанный дом она пошла продавать ее. К несчастью, тов. З. И. Лилиной не нужна была курица, и она через прислугу сообщила мнимой торговке, что курица не нужна. Но тут тов. З. И. Лилина сама вышла и по данному торговкой знаку поняла, что торговка здесь не из-за курицы. Торговка выходит, а тов. З. И. Лилина за ней. В это время передается записка. Тов. Лилина, прочитав, забыла всякую осторожность и намерена броситься на шею торговке, но по прелупреждающему взгляду не выдает секрета, приходит в себя. Так был сообщен тов. З. И. Лилиной адрес, куда необходимо прийти, затем указанным путем она была перевезена к месту пребывания Владимира Ильича и Григория Евсеевича.

В изгнании они чувствовали себя не совсем плохо, пользовались моментом отдыха. Владимир Ильич и Григорий Евсеевич не упускали случая и частенько ходили купаться в Разливе. Лес — прекрасное место для охоты, и тут Григорий Евсеевич, под видом охотника, вздумал как-то пройтись с ружьем.

Однако, из этой охоты чуть не вышло беды. Григорий Евсеевич набрел на лесника К. Аксенова, который, как блюститель порядка, конечно, первым делом отнял ружье, а второе — для составления протокола стал допытываться фамилии, которая, конечно, ему не была сообщена. Дело не из прекрасных, лесник мог узнать Григория Евсеевича и,

конечно, мог сообщить туда, где нежелательно было, чтобы знали, а затем и заманчиво, — ведь, Владимир Ильич и Григорий Евсеевич были оценены в 200.000 руб., сумма громадная в то время, хотя они и ошиблись в расценке: ими вожди рабочего класса были слишком дешево оценены; теперь, конечно, они знают цену.

Мне пришлось это дело уладить. Я пошел сначала вообще узнавать, какое впечатление произвел на Аксенова мнимый охотник. Прихожу, спрашиваю: — Михайлыч, это ты отнял ружье у моего охотника? — Да, я,—говорит. — Эх, Михайлыч, разве так отпосытся к товарищу по службе? Кажется, мы четыре года отслужили солдатчины, а ты еще мои ружья отбирать задумал. — Да, как же, откуда я знал, что ружье твое, — ведь он «чухонская лайба», ни слова по-русски не говорит. Я спрашиваю: «Чей, кто», — ничего не отвечает. Удостоверившись, что серьезного ничего нет, и что лесник Аксенов просто принимал Зиновьева за фляпа, работающего у меня, мы все успокоились.

Владимир Ильич и Григорий Евсеевич ежедневно читали все газеты, какие только выпускали в то время. Газеты доставлялись все тем же путем. Помню, газеты часто были с заметками, описывающими, каким образом Владимир Ильич и Григорий Евсеевич скрылись за границу: то фигурируют подводные лодки, то аэропланы. На самом деле верно только одно—что через воду, да только не на подводной, а на простой однопарной весельной лодке совершен весь переезд. Читая подобные заметки, Владимир Ильич от души смеялся, называя издателей буржуазных газет «гороховыми шутами».

Итак, буржуазия негодовала, а Владимир Ильич все пишет статью за статьей, занимаясь в своем излюбленном месте, за большим ивовым кустом. Владимир Ильич и Григорий Евсеевич не упускали случая и возможности завятыся и физическим трудом: помню, как оба они, не уступая опытным носильщикам, носили на носилках большие копны сена, метали стога; помню, как Владимир Ильич ловко подавал сено на вилах, и в конце-концов, был сметан большой стог сена. В вечернее время частенько ходили ловить рыбу бреднем с ребяташками.

И так живем, а время идет; уже природа дает себя чувствовать. Все чаще и чаще стали поливать дожди.

Помню, с какой внезапностью застал нас первый большой дождь. Утром погода была отличная, чуть лишь маленький ветерок шевелил листья деревьев, солнце было уже высоко. Я был доволен сегодняшним днем, думая, что вот высушу сено и можно будет убрать. К несчастью, после обеда поднялся небольшой ветерок, затем все усиливался и усиливался и, в конце-концов, перешел в сильный порывистый ветер. Затем быстро стало заволакивать небо тучами.

Я предвидел, что будет сильный дождь, и нужно торопиться с уборкой сена; тут Владимир Ильич и Григорий Евсеевич, видя, что громадное количество трудов может пропасть даром, стали помогать в уборке сена. Сено отстояли от дождя, — успели убрать. И только что убрали, начал накрапывать дождик, а затем разлился такой ливень, что палаш промок, и нас, сидевших в нем, начало помаленьку подмачивать.

Владимир Ильич начинает бить тревогу: предлагает нам оборудовать наше жилище, сходить в лес за сучьями, покрыть еще сеном, дабы не пришлось бы ночью дрожать от холода, промокнувши насквозь. Предложение Владимира Ильича нашли правильным, и мы дружно приня-

лись за дело. Взяли топор, кто рубит сучья, кто таскает, и моментально сучья были натасканы; затем, уложив их, покрыли добавочно сеном, и шалаш был исправлен. И весьма кстати, так как в это время дожди стали уже постоянными посетителями.

Постепенно стало все холоднее и холоднее, и нужно было подумывать о том, что дальнейшее пребывание станет невыносимым. Необходимо стало подыскать другое место проживания, более приспособленное к осеннему времени и к тому же более безопасное. По предложению тов. Шотмана, решено было Владимиру Ильичу переехать в Финляндию, а насчет Григория Евсеевича решили, что он переедет и останется в Петрограде.

Устройство Владимира Ильича в Финляндии доверено было тов. Шотману, а мне было задано достать необходимые документы. Воспользовавшись тем, что в местном Сестрорецком оружейном заводе выдавались пропуска на проезд через границу работавшим на заводе и жившим в Райволе рабочим, я достал пропуска на проезд за границу за подписью начальника завода Дмитриевского. Оставалось только лишь сняться Владимиру Ильичу и Григорию Евсеевичу и наклеить карточки.

Владимир Ильич и Григорий Евсеевич были выстрижены, загримированы в парики; приехал тов. Леценко Д. П., который и снял Владимира Ильича и Григория Евсеевича. Документы были готовы. Оставалось решить вопрос, каким образом перебраться на новые места. Было решено отправиться пешком через лес в Дибуцы, а оттуда в Петроград; так и было сделано.

Приблизительно через месяц Надежде Константиновне Ульяновой необходимо было переехать через границу в Финляндию к Владимиру Ильичу. Надежда Константиновна была таким же образом переправлена через границу по документам на имя Агафьи Атамановой, как уроженка с. Райволы.

А. Шотман

Ленин в подполье

Перед тем, как ехать к тов. Ленину, я зашел в Петербургский Комитет партии большевиков, в то время помещавшийся на Выборгской стороне; там шла беседа о дальнейшем развитии революции, и т. Лапевич, между прочим, сказал: «вот посмотрите, тов. Ленин в сентябре будет премьер-министром!»...

Сидя у стога и сообщая т.т. Ленину и Зиновьеву петербургские новости, я передал им и слова т. Лапевича, на что тов. Ленин очень спокойно ответил: «В этом ничего нет удивительного». От такого ответа я, признаться, немного опешил и поглядел на него с изумлением. Заметив мое удивление, Владимир Ильич стал обстоятельно мне объяснять, как будет развиваться русская революция. Я очень сожалею, что не записал тогда всего, что говорил он о судьбах революции. Но теперь я вспоминаю беседу на берегу залива у стога сена и убеждаюсь, что многое из того, что произошло после Октябрьской революции, Владимир Ильич предвидел еще тогда. Ведь знаменитые его брошюры «К лозунгам» и

«Удержат ли большевики государственную власть» были написаны им в то время у стога сена.

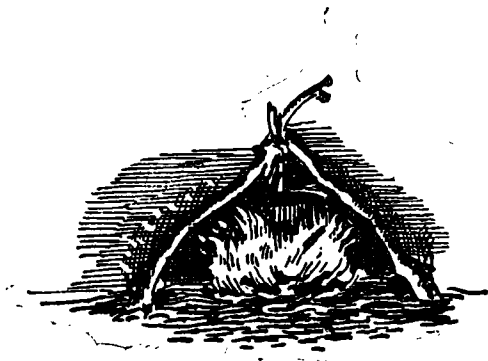
Вспоминается забавный случай с напечатанной наспех брошюрой Ленина «К лозунгам». Отвезя в город для напечатания рукопись, я через несколько дней вез к нему готовую брошюру, которую, сидя в вагоне, прочел. В пей, в одном месте, я нашел такую фразу: «В России в настоящее время нет ни одной партии, которая последовательно защищала бы интересы рабочего класса» (цитирую на память). Когда я приехал к Владимиру Ильичу, и, показав ему это место, спросил: «а как же большевистская партия?», он сначала схватился за голову, потом рассмеялся и сказал: «ну, в следующем издании исправим».

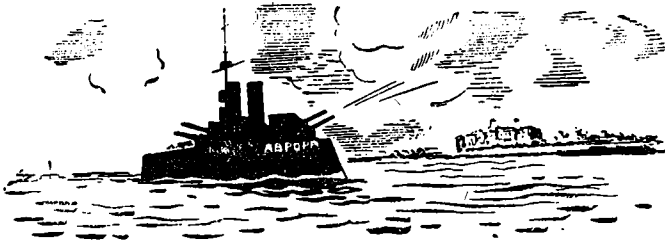
Долго мы беседовали, сидя у стога сена, в мой первый приезд. Но, несмотря на июль месяц, ночные болотистые испарения давали себя знать. Я дрожал в своем летнем костюме от пронизывающего холода. Спать легли мы в стоге, где заботливая рука т. Емельянова устроила нечто в роде спальной. Я долго не мог уснуть от холода, несмотря на то, что лежал между т.т. Лениным и Зиновьевым, покрытый зимним пальто.

После этого я в продолжение двух с лишним недель через день-два приезжал к ним из Питера, носил провизию, газеты и пр., организуя в это же время надежное убежище для более продолжительного и приличного их существования. Кроме меня, насколько мне известно, провизию, белье и проч. возила им из города только тов. А. Н. Токарева—петербургская работница.

При первой же встрече было принято решение переехать в Финляндию, где с помощью финских товарищей мы рассчитывали устроиться более или менее безопасно и удобно. Затруднения возникли в выборе способа переправы через границу, которая в то время охранялась с необычайной тщательностью.

Несмотря на то, что со времени перехода т.т. Ленина и Зиновьева на нелегальное положение прошло около месяца, газеты продолжали травлю с неослабевающей энергией, и как черносотенные, так и либеральные газетчики с пеною у рта требовали ареста Ленина и Зиновьева во что бы то ни стало. Не только контрразведка и уголовные сыщики Керенского были поставлены на ноги, но даже собаки, в том числе знаменитая собака-ищейка «Треф», были мобилизованы для поимки неуловимых Ленина и Зиновьева.





Н. Подвойский

Ленин в военно-революционном штабе

Банды Керенского стояли под Петроградом. Положение только что организовавшейся рабоче-крестьянской республики было критическое. Мы поставили под ружье, отправили на фронт все, что было способно стоять за дело республики, но развал в некоторых наших частях, недочеты командования и разрозненность в деле руководства операциями сводили на-нет все наши усилия. Врагу ничего не стоило при нашей разобщенности и ненадежности командования раздавить нас самыми незначительными силами и на плечах наших отступающих войск ворваться в столицу. Командующий тов. Антонов, утомленный, еле давал себе отчет в событиях.

В этот тяжелый момент на сцену выступил Ленин.

26 октября 1917 года мы приступили к сборке и отправке на фронт солдатских и красногвардейских полков. Смольный был буквально превращен в лагерь, где наспех формировались из присланных рабочих части. Тут же обмундировывались и вооружались, правильнее сказать, облачались в шинели, снабжались патронташами, сумками, патронами. Многие из рабочих впервые становились в строй и брали ружье.

С фронта мы получали скудные вести. Было известно, что головной отряд тов. Чудновского не смог выполнить данную ему задачу.

Тов. Антонов отправился на фронт и возвратился подавленный беспорядком и неразберихой. Было собрано несколько наших большевистских офицеров и солдат, и мы принялись обсуждать наше, весьма критическое, положение. Для врага ничего не стоило при нашей разобщенности и ненадежности командования раздавить нас самыми незначительными силами и среди паники, которая была бы принесена отступающими отрядами, произвести в Петербурге контр-революционный переворот.

Ленин, с исключительным напряжением следивший за наступлением Керенского и за ходом восстания белогвардейцев, очевидно, самым реальным образом учел наше критическое положение на позициях. Неожиданно для нас он явился в штаб округа со Сталиным и Троцким. Он вызвал меня, Антонова и Механошина и потребовал, чтобы мы сделали ему подробный доклад о положении дел, чтобы мы познакомили его с находящимися в нашем распоряжении силами, с силами противника и нашими оперативными планами.

На мой вопрос, что означает этот приезд, — недоверие к нам или что другое, — Ленин просто, но твердо ответил:

— Не недоверие, а просто правительство рабочих и крестьян желает знать, как действуют его военные власти.

В этот момент я впервые почувствовал, что у нас диктатура, что у нас — сильная, твердая рабочая власть. Тут я понял, что я — ответственный перед рабочими и крестьянами агент власти, а не просто работник; что я сам, составляя часть аппарата диктатуры, подчинен власти пролетариата в каждом шаге своем и несу величайшую ответственность перед общей диктатурой пролетариата в лице Совета Народных Комиссаров.

Тов. Антонов стал излагать общий план операций, указывая по карте расположение наших сил и вероятное расположение противника. Ленин впился в карту. С остротой самого глубокого и внимательного оператора-стратега и полководца он затребовал объяснений, почему этот пункт не охраняется, почему тот пункт не охраняется, почему предполагается тот шаг, а не иной, почему не вызвана поддержка Кронштахта, почему не разработана такая-то позиция, почему не закрыт такой-то проход.

Этот вдумчивый и строгий анализ показал нам, что мы, действительно, допустили целый ряд оплошностей, не проявили той чрезвычайной активности, которой требовал момент. Мы шли за массами, но ничего не сделали, чтобы быть их вождями и полководцами. Оставалось два выхода: или сказать Ленину, что мы все никуда не годны, не можем нести ответственности за операции, или кому-либо другому взять командование.

После краткого перерыва и обмена мнениями с товарищами по штабу, я направился к Ленину и заявил, что берусь устранить тяжелое положение на фронте и надеюсь, что мне удастся собрать силы красного Петербурга.

Часов в двенадцать следующего дня Ленин явился ко мне в штаб и потребовал, чтобы ему поставили в моем кабинете стол, и заявил, что он хочет все время быть в курсе событий.

Сев на организационного конька, Ленин через каждые 5—10 минут присылал мне кого-нибудь на помощь: то по снабжению, то по мобилизации рабочих, то по подрячному делу, то летчика, то агитатора. Постепенно увлекаясь, он, сам того не замечая, выходил из моего кабинета, давал непосредственные распоряжения то одному, то другому товарищу.

Работа закипела, но Ленина это не удовлетворяло: ему казалось, что работа все еще идет медленно, нерешительно, неэнергично, и он принялся сам вызывать в свой кабинет представителей организаций и заводов и информировался у них о состоянии вооружения рабочих, о технических средствах и о том, что можно, вообще, получить от них для обороны, и чем их завод может быть для этого полезен.

Тут появились приказы путиловцам бронировать площадки паровозов, ставить имеющиеся на Путиловском заводе пушки, везти на позиции блиндажи. Нарвскому району приказывалось реквизировать у извозчиков лошадей для отправки имевшихся на заводе сорока готовых пушек. По различным заводам, организациям были посланы комиссары, чтобы взять от них все, что требуется для обороны.

Я несколько раз в течение трех—пяти часов спорил с Лениным, протестуя против его «рваческой» работы. Протесты мои как бы принимались, но через несколько минут забывались и игнорировались. В сущности, создалось два штаба: в кабинете Ленина и в моем. В кабинете

Ленина как бы походный, так как Ленин имел стол в моем кабинете. Но чем чаще Ленин посещал свой кабинет, куда беспрерывно вызывались по его приказу всевозможные работники, тем более распоряжения случайного характера превращались в непрерывную пепь. Правда, эти распоряжения не касались ни операций, ни воинских частей, а только мобилизации «всех и вся» для обороны. Но этот параллелизм работы страшно нервировал меня. Наконец, я резко и совершенно несправедливо потребовал, чтобы Ленин освободил меня от работы по командованию.

Ленин вскипел, как никогда:

«Я вас предам партийному суду, мы вас расстреляем. Приказываю продолжать работу и не мешать мне работать».

Только на следующий день оценил я все значение параллельной работы Ленина. Я особенно понял ценность ее после того, как проанализировал результаты созванного им совещания из представителей рабочих организаций, районных советов, фабрично-заводских комитетов, профессиональных союзов и воинских частей. На этом совещании он приказал быть и мне.

Здесь я понял, в чем заключается сила Ленина: в чрезвычайный момент он доводил концентрацию мысли, сил и средств до крайних пределов. Мы разбрасывались, собирали и бросали силы случайно, непланомерно, благодаря чему получалась расплывчатость действий, а отсюда—расплывчатость и в настроении масс и отсутствие активности, инициативы и решимости.

Н. Мещеряков

В дни Учредительного Собрания

Несколько воспоминаний из времен Учредительного Собрания.

Вспоминается, как живая, фигура Ильича, сидящего на приступках трибуны председателя. На выдощенные речи Чернова и Церетели он не обращал никакого внимания. Сперва он что-то писал, а потом просто полулежал на ступеньках то со скучающим видом, то весело смеялся.

Около 11 часов вечера большевистская фракция потребовала перерыва для совещания. Перед нами встал вопрос, что делать дальше. Выступил Владимир Ильич.

— Центральный Комитет предлагает уйти с Учредительного Собрания после оглашения соответствующей резолюции, — предложил Владимир Ильич.

— А что же будут делать эс-эры после нашего ухода? — спросил кто-то из товарищей.

— Вероятно, будут продолжать свою болтовню.

— До каких же пор они будут продолжать ее?

— Пока им не надоест это занятие.

После некоторого колебания, было решено последовать совету Ильича. Для прочтения резолюции был намечен тов. Раскольников. Мы все стали собираться к возвращению в залу заседания.

— Как, товарищи? Вы хотите вернуться в залу и уйти оттуда после прочтения нашей резолюции? — спросил нас Владимир Ильич.

— Да.

— Да разве вы не понимаете, что наша резолюция об уходе, сопровождаемая уходом всех нас, так подействует на держащих караул солдат и матросов, что они тут же перестреляют всех оставшихся эс-эров и меньшевиков? — был ответ Ленина.

Многие с ним согласились не сразу. Но после второй энергичной речи Ленина его предложение было принято. Большевики не вернулись в залу заседаний. Одни разошлись по домам, другие наблюдали сцену с хор, из дверей и т. п. На заседание вернулся один тов. Раскольников, который прочитал декларацию и ушел. На солдат караула она произвела громадное впечатление. Многие из них взяли винтовки на изготовку. Товарищ, бывший на хорах, рассказывал мне, что один из солдат даже прицелился в толпу делегатов эс-эров. Еще момент, и могла бы разыгаться ужасная сцена.

Знают ли, подозревают ли бывшие депутаты-эс-эры, что только Ленину они обязаны спасением от смерти?..

Попытка увезти В. И. Ленина из Петрограда

«В 20-х числах января 1918 года чрезвычайная комиссия по охране города Петрограда получила сведения, что существует организация, поставившая себе целью увезти В. И. Ленина из Петрограда в качестве заложника. К этому же времени было замечено, что за некоторыми квартирами в Петрограде усиленно следят какие-то лица. Несколько раньше были арестованы лица и среди них один шоффер, которые пытались записывать номера автомобилей, выходявших из Смольного, а латышский караул у ворот Смольного отметил появление нескольких лиц, которые весьма интересовались выезжавшими из Смольного. Эти лица нередко задавали вопросы караульным: «Кто это уехал?» «Не такой ли?!».

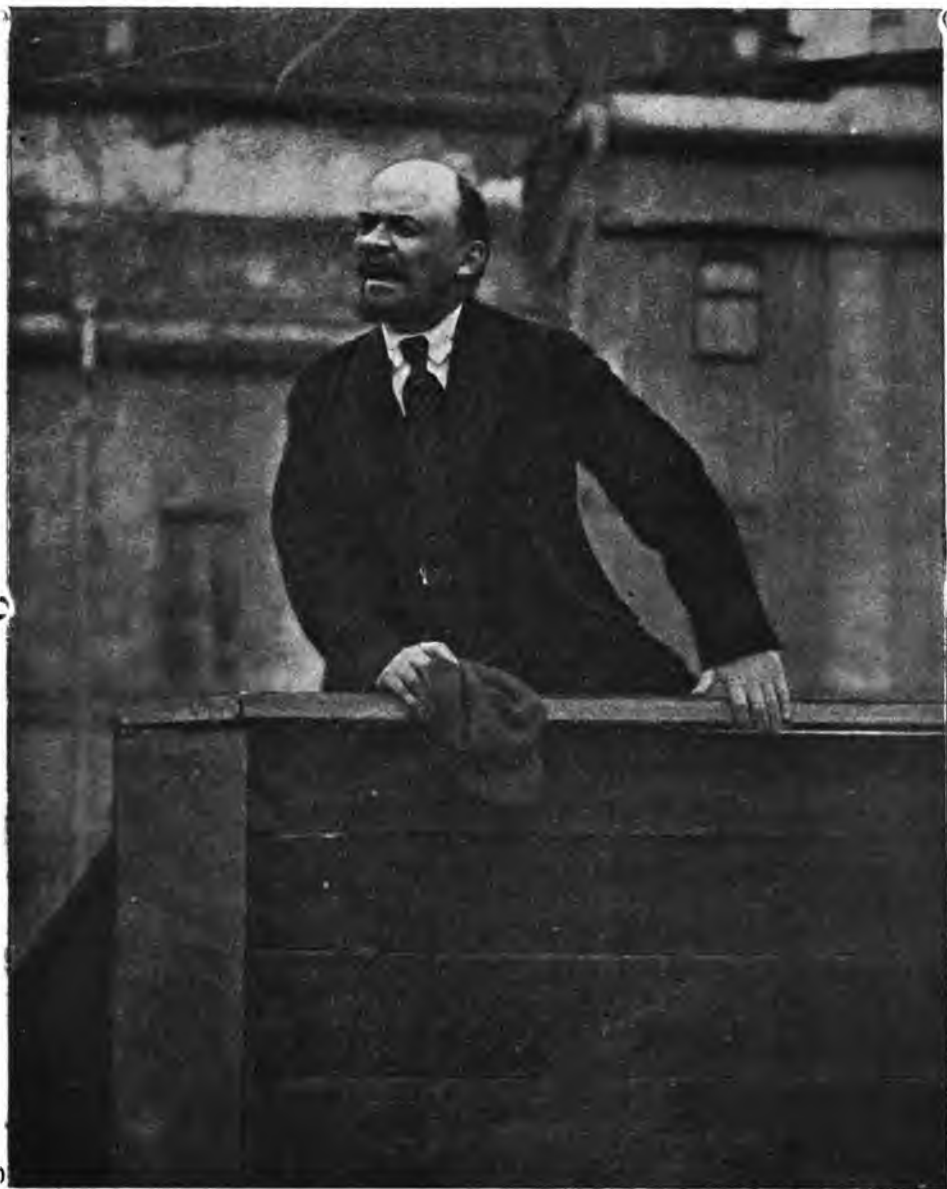
Все эти сведения и наблюдения, постоянно стекавшиеся к комиссарам чрезвычайной комиссии по охране Петрограда, заставили принять некоторые меры предосторожности. 20-го января чрезвычайной комиссии по охране Петрограда удалось получить сведения, что в Перекупном пер., д. № 8, кв. 17, у проживающей там торговки О. В. Саловой (Ивановой), нередко собираются военные, которые обсуждают вопрос увоза Ленина из Петрограда.

После установления некоторых данных, в ночь с 21 на 22 января были произведены одновременно аресты: в Перекупном пер., д. № 8, где была арестована Салова; на Забалканском пр., д. 21, кв. 43, где был арестован подпоручик Ушаков, военный врач Некрасов, капитан А. М. Зинкевич, П. В. Некрасов, вольноопределяющийся Н. Н. Мартьянов.

Главное действующее лицо — председатель союза георгиевских кавалеров, Осминин, был захвачен при этих арестах.

Приступив к немедленному дознанию, чрезвычайная комиссия по охране Петрограда поручила комиссарам комиссии — рабочим различных районов Петрограда, ответственным перед партией, — отыскать Осминина. Выяснилось, что он ночует в различных местах, имея свою квартиру на Охте.

Арест Ушакова, Некрасова и др. сильно всполошил союз георгиевских кавалеров. На Захарьевской ул., где помещался этот союз, были



**В. И. Ленин на трибуне в Москве, в 1920 году,
во время речи к войскам, уходящим на польский фронт.**

кем-то выставлены наблюдательные посты, и, когда двое комиссаров появились в районе д. № 14, то они немедленно были окружены шестью солдатами, которые не выпускали их из своего поля зрения, следуя за ними всюду, куда бы они ни пошли.

Здесь же было обнаружено, что Осминин, вышедший из союза с несколькими спутниками, быстро вернулся обратно в союз. Также было замечено, что автомобиль, который проезжал по Захарьевской ул., был сейчас же проконтролирован несколькими солдатами, вышедшими из двора д. № 14, быстро пересекшими дорогу автомобилю и осмотревшими как сидящих в автомобиле, так и номер автомобиля.

На другой день утром, когда в союзе георгиевских кавалеров должен был собраться комитет, а может быть, собрание особой группы, латышские стрелки энергичным движением окружили район и дом, вошли в помещение союза и немедленно арестовали всех присутствующих.

Среди них оказался Осминин, некоторые другие лица, нужные для следствия, а в помещении этого «культурно-просветительного союза» были найдены совершенно готовые бомбы, ручные гранаты, шашки и несколько винтовок со штыками.

Все арестованные были доставлены в Смольный, комн. 75, для допроса. На предварительном дознании выяснилось, что на квартире Саловой Осминин и Ушаков выработали план увоза В. Ленина из Петрограда. Исходной мыслью этого плана было то их запоздалое и неверное для настоящего времени наблюдение, что будто бы Ленин часто приезжает ночью на квартиру к В. Д. Бонч-Бруевичу, живущему на Херсонской улице, д. № 5—7, поблизости от Перекупного пер. Осминин, находящийся в интимной связи с Саловой, требовал от нее, чтобы она приняла к себе в лавку в качестве приказчика одного солдата, который должен точно установить часы приезда и отъезда Ленина.

Установлено, что Салова отказалась принять к себе в дом на жительство такого незваного приказчика, который, по ее незначительной торговле, был ей совершенно не нужен. Тогда Осминин стал требовать, чтобы Салова как-нибудь познакомилась с прислугой Бонч-Бруевича и через нее узнала, когда бывает Ленин в этом доме. Салова и в этом отказала Осминину.

Тогда тот солдат, которому было поручено наблюдение, хотел поступить в дворники того дома, где живет Бонч-Бруевич. Так как ему не удалось осуществить это намерение, то он стал следить за квартирой Бонч-Бруевича.

По признанию этого солдата, члена союза георгиевских кавалеров, Я. Н. Спиридонова, — за то, что он выследит Ленина и поможет взять живьем или убить Ленина и Бонч-Бруевича, ему было обещано 20.000 рублей.

В последнюю минуту, когда он, по его словам, уже много выследил, у него заговорила совесть, и он пришел на квартиру к Бонч-Бруевичу и подал записку, что ему необходимо видеть Бонч-Бруевича наедине, и назначил, что он придет на другой день в 10 час. Но так как Бонч-Бруевич почти никогда не бывал дома, то ему отказали в приеме и направили в Смольный, сказав, что по всем делам Бонч-Бруевич принимает именно там. В Смольном он дал показания, сильно помогшие делу расследования.

Ушаков, Осминин, Некрасов — все заявили, что по взглядам они сочувствуют партии социалистов-революционеров (центру). После восстания 24—25 октября, Осминин и Ушаков вог в сношение с Коми

тетом Спасения Родины и Революции, и, по заявлению Осминина, этот Комитет обращался к ним, т. е. к комитету георгиевских кавалеров, с просьбой поддержать их во время выступления на защиту Учредительного Собрания.

«Мы им не отказали, — показывает Осминин. — Они обещали нам дать компенсацию: если мы поможем защите Учредительного Собрания, то они устроят нам большую газету».

Переговоры вели Ушаков, Некрасов, Осминин и другие лица. Члены президиума союза георгиевских кавалеров обещали поддержать Комитет Спасения.

На вопрос, зачем они хотели увезти Ленина, — а по словам Спиридонова, убить его, — Ушаков заявил, что они были убеждены, что убийство Шингарева и Кокоскина произошло по распоряжению из Смольного; и они хотели получить заложника, чтобы прекратить кровопролитие.

Когда им было указано, что следствие по убийству Шингарева и Кокоскина было назначено через полчаса после получения первых сведений В. И. Лениным, который лично распорядился, как председатель Совета Народных Комиссаров, принять самые экстренные меры к раскрытию преступления, что и было исполнено, — Ушаков разводил руками и говорил, что он теперь понимает, как он заблуждался, и что революция в Германии совершенно оправдывает в его глазах политику большевиков и т. д.

С. К. Гиль

(Шоффер Совнаркома, бывший с В. И. Лениным на заводе Михельсон во время покушения)

Роковой день

В роковой день 30 августа Владимир Ильич выехал, как и каждую неделю, на митинги, в самую гущу рабочей массы.

Сначала мы приехали на Хлебную биржу, где был митинг. Здесь народа было много. Митинг прошел благополучно ¹⁾, и мы уехали на завод, бывший Михельсона, на Серпуховскую улицу, где мы бывали и раньше раза два. Вехали прямо во двор. Во дворе было много народа. Охраны ни с нами в автомобиле, ни во дворе не было никакой, и Владимира Ильича никто не встретил: ни завком, ни кто другой. Он вышел совершенно один из машины и быстро прошел в мастерские. Я развернул машину и поставил ее к выезду со двора, шагах в десяти от входа в мастерские.

Спустя 10—15 минут ко мне подошла женщина с портфелем, — после на следствии выяснилось, что это и была убийца, и спросила меня: «Что, товарищ Ленин, кажется, приехал?» Я на это ответил: «Не знаю, кто приехал»... Она засмеялась и сказала: «Как же это? Вы шоффер и не знаете, кого везете».

— А я почему знаю? Какой-то оратор, — мало ли их едит, всех не узнаешь, — ответил я ей спокойно.

¹⁾ Следствие выяснило, что и здесь за Владимиром Ильичем следили эс-эры, но им что-то мешало совершить задуманное покушение.

Она отошла от меня, и я видел, как она вошла в помещение завода.

Я подумал: что это она ко мне привязалась? Какая настойчивая... Но так как почти всегда интересующихся, кто приехал, да кого привез, было много, иногда даже обступали машину и рассматривали ее, то я на слова и этой женщины не обратил внимания. У нас только было одно строгое правило: никогда никому не говорить, кто приехал, откуда приехал и куда поедет дальше.

Спустя, думаю, с час из завода вышла первая большая толпа народа, — все больше рабочие, — и заполнила почти весь двор. Я понял, что митинг кончился, и стал готовиться к отъезду и сейчас же завел машину. Через несколько минут из завода выкатилась другая большая толпа народа, среди которой шел Владимир Ильич. Я сидел на руле и машину поставил на скорость. Владимир Ильич разговаривал с рабочими, которые задавали ему много вопросов. Он очень медленно подвигался по направлению к машине. Не доходя до машины шага за три, Владимир Ильич остановился против дверцы и намеревался сесть. Дверцы были кем-то из толпы открыты. В это время он разговаривал с двумя женщинами и объяснял им относительно провоза продуктов, и я слышал слова Владимира Ильича:

— Совершенно верно, есть много неправильных действий в заградительных отрядах, но это все безусловно устранится.

Разговор длился две-три минуты. По бокам Владимира Ильича стояли еще две женщины, немного выдвинувшись вперед перед ним. Он был тесно стиснут толпой, и когда он хотел сделать последние шаги к мотору, вдруг раздался выстрел. Я в это время смотрел на Владимира Ильича вполупорот назад. Я моментально повернул голову по направлению выстрела, и вижу женщину с левой стороны машины у переднего крыла, целившую под левую лопатку Владимиру Ильичу. Раздались один за другим еще два выстрела. Я тотчас же застопорил машину и бросился к стрелявшей с наганом, целясь ей в голову. Она кинула браунинг ко мне под ноги, быстро повернулась и бросилась в толпу по направлению к выходу. Кругом так было много народа, что я не решился выстрелить ей вдогонку, так как чувствовал, что наверное убью кого-либо из рабочих. Я ринулся за ней и пробежал несколько шагов, но мне тут вдруг вступило в голову:—«ведь Владимир Ильич один... Что с ним?»... Я остановился. С секунду была страшная, мертвая тишина. Потом вдруг все закричали: убили... убили...—и разом вся толпа шархнулась бежать со двора — и мужчины, и женщины, — и образовалась сильная давка. Я обернулся и увидел Владимира Ильича упавшим на землю. Я бросился к нему. За эти мгновения битком набитый двор уже опустел, и стрелявшая женщина скрылась с толпой.

Я подбежал к Владимиру Ильичу и, став перед ним на колени, наклонился к нему. Сознания он не потерял и спросил:

— Поймали его или нет?

Он, очевидно, думал, что в него стрелял мужчина.

Я вижу, что спросил тяжело, изменившимся голосом, с каким-то хрипом, и сказал ему.

— Молчите, не говорите, вам тяжело...

В эту минуту поднимаю голову и вижу, что из мастерских бежит в матросской фуражке какой-то страшный мужчина, в страшно возбужденном состоянии, левой рукой размахивает, а правую держит в кармане, и бежит стремглав прямо на Владимира Ильича.

Мне вся его фигура показалась крайне подозрительной, и я закрыл собой Владимира Ильича, особенно голову его, почти лег на него и закричал изо всех сил:

— Стой! — направил на него револьвер.

Он продолжал бежать и все приближался к нам. Тогда я крикнул:

— Стой! Стреляю...

Он, не добежав несколько шагов до Владимира Ильича, круто повернул налево и бросился бегом в ворота, не вынимая руки из кармана. В это же время ко мне подбежала сади какая-то женщина с криком:

— Что вы делаете? Не стреляйте!.. — очевидно, предположив, что я хочу стрелять во Владимира Ильича. Я не успел еще ей ничего ответить, как в это время от мастерских раздался крик какого-то мужчины: «это свой! свой!», и я увидел бегущих из мастерских с револьверами в руках по направлению к Владимиру Ильичу. Я опять закричал:

— Стойте! Кто вы? Стрелять буду...

— Мы—заводский комитет, товарищ, свои...

Узнав одного из них, которого я видел раньше, когда мы приезжали на завод, я подпустил их к Владимиру Ильичу. Все это произошло очень быстро, в несколько минут.

Кто-то из них настаивал, чтобы я вез Владимира Ильича в ближайшую больницу.

Я решительно ответил:

— Ни в какую больницу не повезу. Везу домой.

Владимир Ильич, услышав наш разговор, сказал:

— Домой, домой...

И я вместе с товарищами из комитета,—а один оказался из военного комиссариата, — помогли Владимиру Ильичу подняться на ноги, и он сам, с нашей помощью, прошел несколько шагов до машины. Мы помогли ему подняться на подножку мотора, и он сел на заднее сиденье в купе автомобиля, на обыкновенное свое место. Двое товарищей сели в машину—один со мной, другой внутри автомобиля. Я поехал очень быстро, изо всех сил, как позволяла только дорога, прямо в Кремль. Я несколько раз оглядывался на Владимира Ильича. Он с половины дороги откинулся всем туловищем на сиденье, полулежал, не стонал и не издавал ни одного звука. Лицо его было бледно. Товарищ, сидевший внутри, немного поддерживал его. В Троицких воротах я не остановился, а только крикнул часовым: «Ленин»,—и проехал прямо к квартире Владимира Ильича во двор. Здесь мы все трое помогли выйти Владимиру Ильичу из автомобиля. Он вышел тяжело, при нашей поддержке, видимо, страдая от боли, но не издал ни одного звука. Мы сказали ему:

— Мы вас внесем...

Он наотрез отказался.

Мы стали просить и умолять его, чтобы он разрешил нам внести его, но никакие уговоры не помогли, и он твердо сказал:

— Я пойду сам...—И, обращаясь ко мне, прибавил:—Снимите пиджак, мне так будет легче идти.

Я осторожно снял с него пиджак, и он, опираясь на нас, пошел по крутой лестнице в третий этаж. Поднимался он совершенно молча. Придя к двери, мы позвонили, и нам открыли. Я прямо провел его в спальню и положил на кровать. Хотел снять рубашку, но этого сделать было нельзя, и я разрезал ее. В этот момент пришла Мария Ильинична. С криком:

«что случилось?» она бросилась сначала к нему, а потом ко мне и сказала:

— Звоните скорей! скорей!..

Я тогда позвонил к Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу и все объяснил. В это время вбежала Анна Петровна и сейчас же выбежала в Совнарком, и с ней пришел тов. А. Н. Винокуров.

После того, как я позвонил к Владимиру Дмитриевичу, Мария Ильинична просила меня предупредить Надежду Константиновну и как можно осторожней. Надежда Константиновна была в комиссариате. Когда я спускался во двор, меня кто-то догнал из Совнаркома, чтобы вместе идти предупредить Надежду Константиновну. Мы стали ждать ее во дворе. Спустя очень короткое время она подъехала. Когда я стал к ней подходить, она, видимо, догадавшись по моему взволнованному лицу, что что-то случилось, остановилась и сказала, смотря в упор в мои глаза:

— Ничего не говорите, только скажите—жив или убит..

— Даю честное слово,—ответил я ей,—Владимир Ильич легко ранен.

Она постояла с минуту и пошла наверх, и мы молча пошли ее провожать. Вошли в квартиру. Я побыл здесь несколько минут и ушел домой.

В. Бонч-Бруевич

После покушения

Оказалось, что женщина-убийца выбежала вместе с толпой со двора завода. С толпой же выбежала и та женщина, которая расспрашивала Владимира Ильича о заградительных отрядах и, как оказалось после, была ранена третьей пулей. Она сначала не почувствовала ранения, а потом упала и была доставлена в больницу.

Толпа бежала, сначала не зная, где та или тот, кто стрелял во Владимира Ильича.

Ребятишки, бывшие во дворе во время покушения, гурьбой бежали за стрелявшей и кричали:

— Вот она! Вот она!..

После первого переполоха толпа стала искать убийцу, и одному из товарищей рабочих с завода б. Михельсона удалось ее задержать. Толпа хотела расперзгать ее, и только с величайшим трудом ее доставили в комиссариат, откуда ее сейчас же переправили в В. Ч. К. Она оказалась членом партии социалистов-революционеров Фани Каплан.

Второй и третий день после ранения были крайне тревожные. Температура Владимира Ильича поднялась. Потом стало несколько лучше. Решили снять рентгеновский снимок с его грудной клетки. Для этой цели был привезен переносный рентгеновский аппарат. Машины все были крайне тяжелые. Мне пришлось обратиться к товарищам красноармейцам, стоявшим в Кремле, и просить их выбрать из себя четверых самых сильных, дабы в очень тесное и маленькое помещение, где жил Владимир Ильич, бесшумно перенести эти тяжеленные сундуки и иные приспособления. Товарищи на цыпочках вошли в комнату Владимира Ильича, неся все эти принадлежности на мускулах, украдкой взглянули на своего лю-

бимца и бесшумно вышли в коридор, где безмолвно стояли, понутив головы, дожидаясь, пока доктор делал снимок, дабы после так же спокойно вынести все эти тяжести.

В эти же дни, после первого консилиума, я обратился к доктору Мамонову и просил сказать мне его откровенное мнение по поводу положения Владимира Ильича.

— Только отмеченные судьбой могут избежать смерти после такого ранения,—сказал он мне полушопотом.

Я недоуменно смотрел на него.

— Он будет жив,—сказал мне Мамонов,—смертельная опасность миновала,—как и почему, я не знаю. Здесь все крайне загадочно и непонятно... Ранение безусловно смертельное, таких случаев я не видел и не слышал.

Сердце щемило. «А что, вдруг да не миновала»... думалось невольно...

— Нет, он будет жив...—тотчас же отгоняли мы эту мысль.

Дело стало идти на поправку. Владимир Ильич героически переносил все ужасно мучительные перевязки раздробленной левой руки. Вдруг Владимир Ильич, улучив минуту и, очевидно, почувствовав прилив сил, встал с постели и сам отправился за нуждой через коридор в отведенное помещение. Оттуда он еле вернулся, страшно ослабев, и доктора боялись, что он очень сильно повредил себе. Температура действительно вновь поднялась, но вскоре упала. И в этом случае выразилось все то же стремление Владимира Ильича, как можно меньше кого бы то ни было беспокоить и занимать собой. За ним учинили строгий надзор, дабы он еще не сделал себе чего-либо во вред.

Наконец, наступило время, когда доктора разрешили ему повидать друзей и поговорить о политических новостях.

Как и всегда, он расспрашивал до мелочей о всем его интересовавшем.

Еще несколько дней—и Владимир Ильич оделся, и ему было разрешено перейти с постели на диван, читать газеты и даже просматривать особо важные бумаги и телеграммы.

Еще и еще протекли дни и, наконец, Владимир Ильич решительно заявил, что он не желает больше болеть, а желает работать, что ему скучно, что он так без дела хуже еще заболит, а что там в Совнарком «сам воздух» его лечит... И вот было назначено заседание Совнаркома под председательством Владимира Ильича. Во время его болезни Совнарком заседал и решал свои дела, при чем председательствовали по очереди то Алексей Иванович Рыков, то Яков Михайлович Свердлов.

Для первого выхода после болезни было решено всеми товарищами, чтобы заседание продолжалось не более получаса, но надо это было сделать так, чтобы Владимир Ильич не заметил искусственного сокращения повестки. Заседание Совнаркома было на этот раз перенесено с восьми часов вечера на шесть. Минута в минуту Владимир Ильич вошел в зал заседания и, как всегда, прошел торопливой, немного теперь замедленной, походкой к своему председательскому месту. Все народные комиссары, их заместители и другие товарищи, имевшие право на вход в Совнарком, были в сборе и находились на своих местах. Какой-то тихий трепет пронесся по зале; все затаили дыхание и благоговейно взирали на того, кто был только недавно на краю смерти.

Владимир Ильич тихим, слабым голосом огласил новостку.

Первым попросил слова А. И. Рыков и с присущим ему легким, тактичным и тонким юмором сделал заявление, что ВСНХ просит снять с повестки его доклад и перенести через два заседания, когда все сведения будут собраны и цифры будут стоять на всех нужных и присутствующих местах.

Владимир Ильич укоризненно покачал головой и поставил на голосование.

Совнарком охотно отложил доклад ВСНХ. По второму вопросу не явился докладчик и, наконец, приступили к разбору третьего вопроса, продолжавшемуся не более десяти минут; потом заслушали что-то еще и очень искусно свели дело к полному исчерпанию повестки, и через 35 минут это историческое первое заседание, когда Владимир Ильич вернулся от смерти к жизни, было окончено. Владимира Ильича обступили товарищи. Он, как всегда, обстоятельно и хорошо поговорил со всеми и тихонько ушел к себе.

С каждым днем ему становилось лучше, и он все более и более налегал на дела. Через неделю Совнарком заработал по-старому, и Владимир Ильич, похаживая у председательского стола, после того как рука была совершенно снята с перевязи, делал ею назначенную гимнастику, стремясь достать левой рукой за спиной правую лопатку.

И. Кожевников

Три встречи с тов. Лениным

Доклад тов. Троцкого о Брестских переговорах. Таврический дворец наполнен до отказа: яблоку негде упасть. Каким-то чудом около меня справа, за президиумом, в 1-м ряду, свободное место,—одно единственное во всем дворце. К нему быстрыми шагами идет скромный товарищ, на которого, казалось, никто не обращает внимания: не аплодируют, даже не кланяются. Он идет сквозь строй стульев и плотных рядов стоящих на ногах товарищей, но как-то так, что никого из них не задевает, как бы скользит.

Скромный товарищ садится на единственное свободное место, рядом со мной.

Мой слух и внимание поглощены Троцким. И тем не менее мое внимание сосредоточивается на скромном товарище, который сел около меня справа.

Какая-то непреодолимая сила заставила меня спросить моего соседа слева:

— Кто этот товарищ?—показывал я на моего соседа справа глазами.

— Товарищ Ленин.—И в тоне голоса моего соседа слева и во всем его движении я уловил такое его состояние, которое должно быть у человека, которого останавливают на улице среди бела дня и спросят:—скажите, пожалуйста, вы не знаете, сейчас день или ночь?

Но мне тогда было не до того, доволен или нет, а также что думает обо мне мой сосед слева. Я был с Лениным.

— Тов. Ленин,—говорил я ему, воспользовавшись громом аплодисментов, раздавшихся на речь тов. Троцкого,—где и когда я вас могу видеть? Я имею к вам лично поручение тов. Антонова,—добавил я.

— Завтра в Смольном в 3 часа дня. Ко мне попасть трудно. Вы сделайте так: когда дойдете до барьера, за которым молодой товарищ выдает пропуски, вы дайте ему записку и попросите ее мне передать. А в этой записке напишите, что вы тот самый товарищ, который вот здесь со мной разговаривал,—ответил мне тов. Ленин и сейчас же исчез.

Это была моя первая встреча с тов. Лениным.



Я—в Смольном, у барьера, наскоро сделанного и еще не окрашенного. Нашел и молодого товарища.

Через одну-две минуты я был уже в кабинете тов. Ленина. Маленькая, маленькая комнатка, но очень чистенькая.

Я коротко изложил поручение тов. Антонова.

Тов. Ленин взял блок-нот и написал две записки:

Одну тов. Пятакову о выдаче мне для доставки тов. Антонову пятидесяти миллионов рублей и вторую—о выдаче мне патронов столько, сколько мне нужно.

Все это сделал тов. Ленин, не спрашивая меня ни о том, к какой я партии принадлежу, ни о моем стаже. Он не спросил у меня никаких документов, удостоверяющих мою личность.

Когда мои нужды были удовлетворены, тов. Ленин спросил меня, как-то весь приблизившись ко мне, точно в душу ко мне поместился:

— Ну, что говорят про нас на Украине?

Я ответил:

— В общем считают, что вы все делаете правильно, только недовольны, что вы слишком мягко относитесь к нашим врагам. Опасаются, как бы из этого беды не вышло.

Мы расстались. Я пошел в государственный банк к тов. Пятакову. Потерял два часа, так и не мог попасть в банк. Какой-то товарищ посоветовал разыскать телефон и созвониться с Пятаковым. И тогда стража пропустит.

Мы потратили с тов. Прошьяном еще два часа и не могли дозвониться к Пятакову.

Прошьяну пришла счастливая мысль. Он сказал мне:

— Позвоните к Ленину,—он, наверное, знает телефон Пятакова...

— Одну минуту, товарищ, сейчас посмотрю,—говорил мне тов. Ленин, когда я позвонил к нему по телефону и спросил у него, не знает ли он телефона тов. Пятакова.

В 1918 г. председатель Совнаркома, вождь мирового пролетариата и глава русской революции вынужден был исполнять, в числе всех других своих мировых обязанностей, обязанности справочной конторы Петроградской телефонной станции!

И не тому надо удивляться, что он в 1924 году умер, а тому, как он при такой перегрузке мог прожить столько, сколько он прожил.

На следующий день в Таврическом докладывал тов. Ленин, и когда он, полемизируя с Мартовым, по поводу нападок на нас за наши «жестокости», говорил:—если в чем нас могут упрекнуть, так это, в том, что мы не достаточно твердо расправляемся с нашими врагами,—я понял причину опроса Лениным товарищей, приезжающих с мест, о том, как к линии поведения ЦК РКП относятся там.

В Смольном была вторая моя встреча с тов. Лениным.



Весна 1919 г., Москва. Я больной, в отпуску, как командарм XIII. Послал записку к тов. Ленину с просьбой меня принять. Сижу на всякий случай дома. Вдруг звонок. Подхожу к телефону

— Вам позволит время приехать ко мне минут через 15?—слышу я голос тов. Ленина. И в тоне его я слышу ясно, что спрашивает не по дипломатическим соображениям, а искренне—готов избрать другое время для приема меня, если мне не позволяет время приехать к нему через 15 минут.

Конечно, я сказал, что буду у него точно через 15 минут.

Но какая скромность, какое уважение другой личности, какое бережное отношение ко времени другого!

Вот я у него в кабинете. Комната была немного больше, чем в Смольном, но тоже мала. В ней было чисто. Все просто.

— Тов. Кожевников,—встретил меня приветливо т. Ленин.

Пошли с ним к карте...

— Как завод Гартмана?.. Как патронный завод?—забрасывал меня вопросами тов. Ленин.

Я отвечал на все вопросы т. Ленина, а сам думал:—какую же голову надо иметь, как добросовестно и много надо работать, чтобы знать в каждом уездном городке необъятной России,—какой там завод имеется, и в каком они состоянии находятся после занятия городов красными войсками

Н. Горбунов

Как работал Владимир Ильич

Мне, молодому члену партии, выпало огромное счастье в годы революции работать под непосредственным руководством Владимира Ильича: в 1917—1918 г.г. в качестве секретаря Совнаркома, а с конца 1920 г.— в качестве управляющего делами Совнаркома. Исполняя десятки текущих поручений Владимира Ильича, я имел возможность близко, изо дня в день, наблюдать его работу.

Одним из самых поразительных свойств многогранного гениального ума Владимира Ильича было умение пристально следить, не выходя из своего кабинета, за биением жизни не только в России, но и во всем мире. Он умел по незаметным для другого глаза явлениям верно и безошибочно схватывать и определять малейшие изменения взаимоотношений классовых сил. Достигал он этого путем огромного количества связей как с организациями, так и с отдельными лицами. Рядом простых вопросов он умел проверить серьезность данных своего собеседника, критически их проанализировать, быстро ухватить суть дела, выделить нужные факты, казавшиеся порой, на первый взгляд, незначительными и маловажными; по этим фактам он строил свои гениальные выводы и прогнозы. Вопросы Владимира Ильича иногда ставили втупик даже очень хорошо подготовленных собеседников. Товарищи не раз говорили, что после беседы с Владимиром Ильичем они ясно начинали понимать то, что было для них скрыто. Часто бывало так, что товарищи, считавшие себя специалистами в данном вопросе, после беседы с Владимиром Ильичем обнаруживали, что в сущности они совершенно не охватили предмета. Каждый при-

ходивший и беседовавший с Владимиром Ильичем приобретал что-то новое и ценное, какие-то новые широкие горизонты, уверенность и твердую основу в своей работе.

Путем таких бесед и путем какой-то особенной, свойственной только ему одному, интуиции Владимир Ильич впитывал в себя коллективную мысль и опыт масс, прорабатывал их в своем поразительном мозгу и превращал в великие лозунги, которые, как снопы света, освещали пути революции.

В работе Владимир Ильич был требователен до чрезвычайности, с поразительной настойчивостью добивался доведения до конца даже самых мелких дел, десятки раз проверял исполнение, лично созванивался по телефону, чтобы проверить, например, получение посланного им пакета, беспощадно преследовал всякую неаккуратность, небрежность, выводил на чистую воду, не уставал тысячи раз указывать на нашу специфическую русскую расхлябанность, неумение работать, беспорядочность, некультурность.

Занимаясь важнейшими политическими вопросам часто мирового масштаба, Владимир Ильич никогда не отрывался и от текущих дел, был чрезвычайно доступен и живо отзывался на сотни и тысячи сравнительно мелких вопросов. Это давало ему возможность быть всегда в курсе текущей жизни. Доведению до конца какого-нибудь мелкого дела практического характера Владимир Ильич придавал иногда большее значение, чем десятку постановлений СНК и СТО.

Вот некоторые образцы поручений Владимира Ильича, которые он давал нам ежедневно десятками. Взятые примеры относятся к январю-февралю 1921 г.; формулировка почти дословная:

«Принять все меры, чтобы просьба крестьян с Горки и дер. Сиянова—помочь им устроить у себя электрическое освещение—была выполнена в кратчайший срок».

«Заняться делом Гидроторфа и двинуть его, так как специалисты, там работающие, не могут до сих пор приспособиться к условиям советской работы и достаточно беспомощны. Дело это очень важное».

«Проследить, нажать на дело разгрузки Москвы от лишних органов и учреждений. Сократить распухшие и распространившиеся ведомства. Принять меры к тому, чтобы в составе комиссии по разгрузке были исключительно энергичные люди, а также пара старых москвичей, хорошо знающих московские дела».

«Наладить подготовительные работы по организации совета экспертов при СТО» (в будущем Госплан). «В первую очередь наметить группу инженеров и агрономов, хорошо знающих дело, крупных специалистов, широко образованных, способных плодотворно работать в советских условиях».

«Усилить работу отдела законодательных предположений с тем, чтобы все декреты и постановления поступали бы в Совнарком в более проработанном, согласованном виде и не решались бы наспех».

«Вести пропаганду за вхождение рабочих в Р. К. И.,—единственный способ, приближающий к цели борьбу с бюрократизмом. Установить теснейшую связь с наркоматами и пользоваться в работе их аппаратом. В первую очередь научить и научиться пользоваться аппаратами Наркомвнудела и Р. К. И.».

«Специально следить и всячески помогать развитию радиотелефонной связи».

«Выяснить, почему коллегия центр. Нефтеуправления выдала рабочим по 8 арш. мануфактуры вместо отпущенных 30 арш.».

«Выписать из Америки, Германии и Англии литературу по тэйлоризации и научной организации труда. Заняться этим вопросом».

«Добиться, чтобы группе американских рабочих (Чижев, Гладун) был передан целиком завод «Амо» для организации образцового производства авточастей».

«Выяснить вопрос об использовании ветряных двигателей для освещения деревни».

Я нарочно привел этот список различных поручений для того, чтобы показать, как разностороння и разнообразна была текущая работа Владимира Ильича. Нужно иметь в виду, что таких поручений были сотни и тысячи.

Громадное количество поручений и заданий, имеющих гораздо более важный характер, Владимир Ильич направлял непосредственно ответственным товарищам.

В заключение я хочу привести один любопытнейший документ, относящийся к началу 1918 г., который характеризует поразительную скромность Владимира Ильича. В связи с обесценением денег Владимиру Ильичу с 1 марта 1918 г., без его разрешения, было увеличено жалование с 500 до 800 руб. В ответ на это он прислал мне следующую официальную бумагу:

«Секретарю Совнаркома Н. П. Горбунову.

В виду невыполнения вами настоятельного моего требования указать мне основания для повышения моего жалования с 1 марта 1918 г. с 500 р. до 800 р. в месяц, и в виду явной незаконности этого повышения, произведенного вами самочинно по соглашению с упр. делами Совета В. Д. Бонч-Бруевичем, в прямое нарушение декрета СНК от 23 ноября 1917 г., объявляю вам строгий выговор.

В. Ульянов (Ленин)».

Следует отметить, что за несколько дней до этого Владимир Ильич дал мне поручение принять меры к повышению жалования по отдельным наркоматам, в частности по Наркомфину тов. Гуковскому до 2.000 руб.

Скромность, вообще, была одной из основных особенностей Владимира Ильича.

Я думаю, что чрезвычайно полезно оудет заняться специальным изучением того, как работал Владимир Ильич, как из отдельных фактов и отдельных его мероприятий им постепенно выработывались важнейшие политические решения, являвшиеся поворотными пунктами нашей политики. Необходимо, чтобы в институте Ленина были собраны, приведены в систему и изучены все записки и заметки, характеризующие его работу, дававшиеся им часто на клочках бумаги, материалы от лиц, так или иначе соприкасавшихся в работе с Владимиром Ильичем и получавших от него непосредственно различные поручения. Институт Ленина, в числе других своих работ, должен обратить особое внимание на то, чтобы метод работы Владимира Ильича сделать широким достоянием



КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ

К ПАРТИИ

21-го января окончил свой жизненный путь товарищ Ленин.

Умер человек, который основал нашу стальную партию, строил ее из года в год, вел ее под ударами царизма, обучал и закалял ее в бешеной борьбе с предателями рабочего класса, с половинчатыми, колеблющимися, с перебежчиками. Умер человек, под руководством которого несокрушимые ряды большевиков дрались в 1905 году, отступали во время реакции, снова наступали, были в первых рядах борцов против самодержавия, сумели разбить, разоблачить, свергнуть идейное господство меньшевиков и эс-эров. Умер человек, под боевым водительством которого наша партия, окутанная пороховым дымом, властной рукой водрузила красное знамя Октября по всей стране, смела сопротивление врагов, утвердила прочно господство трудящихся в бывшей царской России. Умер основатель Коммунистического Интернационала, вождь мирового коммунизма, любовь и гордость международного пролетариата, знамя угнетенного Востока, глава рабочей диктатуры в России.

Никогда еще после Маркса история великого освободительного движения пролетариата не выдвигала такой гигантской фигуры, как наш покойный вождь, учитель, друг. Все, что есть в пролетариате поистине великого и героического—бесстрашный ум, железная, негибаемая, упорная, все преодолевающая воля, священная ненависть, ненависть до смерти к рабству и угнетению, революционная страсть, которая двигает горами, безграничная вера в творческие силы масс, громадный организационный гений,—все это нашло свое великолепное воплощение в Ленине, имя которого стало символом нового мира от запада до востока, от юга до севера.

Ленин умел, как никто, видеть и великое, и малое, предсказывать громаднейшие исторические переломы и в то же время учесть

и использовать каждую маленькую деталь; он умел, когда нужно, бешено наступать и, когда нужно, отступать, чтобы готовить новое наступление. Он не знал никаких застывших формул; никаких шор не было на его мудрых, всевидящих глазах. Ибо он был прирожденный вождь пролетарской армии, гений рабочего класса.

В сокровищницу марксизма товарищ Ленин внес немало драгоценного. Именно ему рабочий класс обязан разработкой учения о пролетарской диктатуре, о союзе рабочих и крестьян, о всем значении для борющегося пролетариата национального и колониального вопросов и, наконец, его учением о роли и природе партии. И все это богатство было в руках Ленина не мертвым капиталом, а живой несравненной практикой. „Революцию гораздо приятнее делать, чем писать о ней“, — не раз говаривал Владимир Ильич. И всю свою жизнь, от ее сознательного начала до последнего мученического вздоха, товарищ Ленин отдал до конца рабочему классу. Не было и нет человека, который так глубоко был бы предан своему делу; как Ленин, не знавший в своей прекрасной жизни ничего, кроме интересов партии, пролетариата, коммунистической революции. Не было и нет человека, который имел бы глубочайшее чувство своей ответственности, как он. Нечеловеческая, неудержимая жажда работы, неустанная мысль, беспощадная растрата своей энергии сломили этот богатырский организм и погасили навсегда жизнь любимейшего из любимых — Ильича.

Но его физическая смерть не есть смерть его дела, Ленин живет в душе каждого члена нашей партии. Каждый член нашей партии есть частичка Ленина. Вся наша коммунистическая семья есть коллективное воплощение Ленина.

Ленин живет в сердце каждого честного рабочего.

Ленин живет в сердце каждого крестьянина-бедняка.

Ленин живет среди миллионов колониальных рабов.

Ленин живет в ненависти к ленинизму, коммунизму, большевизму в стане наших врагов.

Теперь, когда нашу партию постиг самый тяжелый удар — смерть Ильича, — мы должны с особой настойчивостью выполнить его основные заветы.

Никогда Ленин не был так велик, как в минуты опасности. Твердой рукой он проводил партию через строй этих опасностей, с несравненным хладнокровием и мужеством идя к своей цели. Ничего противнее, отвратительнее, гаже паникерства, смятения, смущения, колебания для Ленина не было.

Партия и здесь пойдет по его стопам. Он ушел от нас на веки наш несравненный боевой товарищ. А мы пойдем бесстрашно дальше. Пусть злобствуют наши враги по поводу нашей потери. Несчастные и жалкие! Они не знают, что такое наша партия! Они надеются, что партия развалится. А партия пойдет железным шагом вперед. Потому, что она — ленинская партия. Потому, что она воспитана, закалена в боях. Потому, что у нее есть в руках то завещание, которое оставил ей тов. Ленин.

Против мирового союза помещиков и капиталистов мы будем строить наш союз рабочих и крестьян, союз угнетенных наций.

Мы твердой ногой стоим на земле. В европейской развалине мы являемся единственной страной, которая под властью рабочих возро-

ждается и смело смотрит в свое будущее. Вокруг нашего славного знамени собираются миллионы. Смерть нашего учителя—этот тяжелый удар,—сплотит еще сильнее наши ряды. Дружной боевой цепью идем мы в поход против капитала, и никакие силы в мире не помешают нашей окончательной победе.

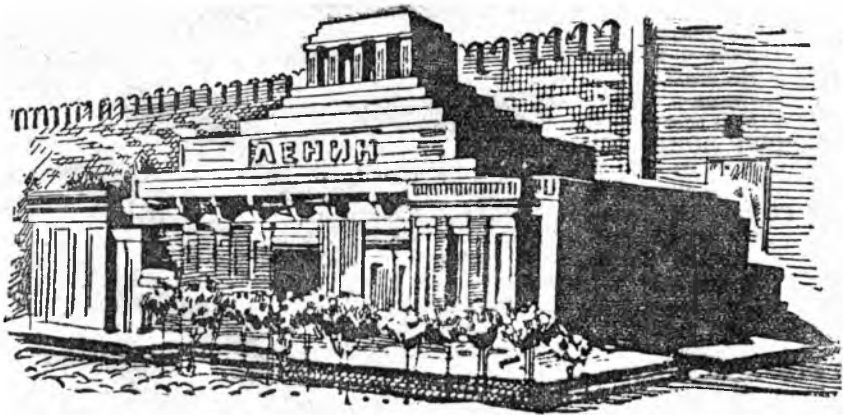
Эта победа будет самым лучшим памятником товарищу Ленину, тому, которого, как лучшего друга, массы звали своим „Ильичем“.

Да здравствует, да живет и побеждает наша партия!

Да здравствует рабочий класс!

Центральный Комитет РКП.

Москва, 22 января 1924 г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	3
I. ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ	
Детство— <i>П. Лепешинский</i>	7
Из детских лет Владимира Ильича Ульянова— <i>М. Фармаковский</i>	9
Воспоминания о товарище Ленине— <i>В. Друри</i>	9
II. ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ГОДЫ	
Володя Ульянов—руководитель ученических кружков— <i>А. Бушуев</i>	13
Как учился Ленин— <i>В. Бонч-Бруевич</i>	14
Встречи с Владимиром Ильичем— <i>Ив. Чеботарев</i>	15
В. И. в гимназии— <i>П. Лепешинский</i>	16
III. В КАЗАНИ. ПЕРВАЯ ВЫСЫЛКА	
О жизни Владимира Ильича Ульянова—Ленина в Казани— <i>А. Елизарова</i>	21
Из моих воспоминаний о Владимире Ильиче Ленине— <i>Дм. Ульянов</i>	25
IV. В. И. СОЗДАЕТ РАБОЧИЕ КРУЖКИ	
Из далекого прошлого Ильича— <i>В. А. Шелгунов</i>	31
Из моих воспоминаний о В. И. Ульянове— <i>В. А. Князев</i>	33
Первое выступление в Москве— <i>А. Елизарова</i>	37
V. ТЮРЬМА И ССЫЛКА В СИБИРЬ	
Владимир Ильич в тюрьме— <i>А. Елизарова</i>	43
Первый революционный опыт. Тюрьма и ссылка <i>П. Лепешинский</i>	53
VI. ЭМИГРАЦИЯ. „ИСКРА“	
Любимое детище Ильича (старая „Искра“) <i>П. Лепешинский</i>	59
Ленин в Лондоне— <i>Тихтарев</i>	62
VII. ВТОРОЙ С'ЕЗД Р.С.-Д.Р.П.	
С Ильичем до и после с'езда— <i>М. Лядов</i>	69
VIII. В ЦЕНТРЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ БУРЬ	
Ленин за границей и в Терриоках— <i>С. Чапко</i>	75
Две встречи— <i>Г. Лиздин</i>	77
Беглые воспоминания— <i>М. Лазуркин</i>	78
Из далеких и ближних лет— <i>П. Куделли</i>	79
Учитель и вождь в подполье— <i>О. А. Сергун</i>	81
Несколько строк— <i>Н. Мещеряков</i>	82
Ленин в 1906 г.— <i>С. Неслуховский</i>	83
Мои встречи— <i>Ст. Виноградов</i>	84
IX. ВОКРУГ ЛОНДОНСКОГО С'ЕЗДА	
Встречи с В. И. Лениным в 1907— <i>А. Матвеев</i>	89
Воспоминания о Лондонском с'езде— <i>Гандурин</i>	90
X. В ГОДЫ ПОДЪЕМА РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ	
Из партийной жизни.— <i>Л. Германов</i>	95
Осенью 1910 года.— <i>А. Рябинин</i>	95
Ленин и заграничный большевистский центр.— <i>Г. Зиновьев</i>	97
Воспоминания большевика-депутата 4-й Государ. Думы.— <i>Ф. Самойлов</i>	102
XI. В О Й Н А	
Владимир Ильич в галицийской тюрьме.— <i>Я. Ганецкий</i>	111
XII. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ	
Из эмиграции в Питер.— <i>Н. Крупская</i>	119
Встреча вождя.— <i>В. Бонч-Бруевич</i>	122
Ленин и „Кронштадская Республика“.— <i>Ф. Раскольников</i>	124
Ильич на Трубочном.— <i>Жариков</i>	128
Ильич нагалерном острове.— <i>Старый большевик с галерного островка</i>	129
XIII. ИЮЛЬСКИЕ ДНИ	
Таинственный шалаш.— <i>Г. А. Емельянов</i>	133
Ленин в подполье.— <i>А. Шотман</i>	136
XIV. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ	
Ленин в военно-революционном штабе.— <i>Н. Подвойский</i>	141
В дни Учредительного Собрания.— <i>Н. Мещеряков</i>	143
Попытка увести В. И. Ленина из Петрограда	144
Роковой день.— <i>С. Гиль</i>	146
После покушения.— <i>В. Бонч-Бруевич</i>	149
Три встречи с тов. Лениным.— <i>И. Кожевников</i>	151
Как работал Владимир Ильич.— <i>Н. Горбунов</i>	153
КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ	157